
КРУПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: РОМАН, ПОВЕСТЬ

Вячеслав Алтунин
(г. Тула)

ТОСКА
глава из романа «Уход»



Окончил Казанский государственный университет. Печатался в газете «За коммунизм», публиковался во всероссийском ордена Г. Р. Державина литературно-художественном и публицистическом журнале «Приокские зори», литературном альманахе тульских писателей «Иван-Озеро». Лауреат Тургеневской премии Союза писателей России, дипломант конкурса «Потенциал России» (ЦФО). Член Союза писателей России, Союза журналистов России.

«Я ухожу к неведомым селеньям»...
Данте Алигьери

«Чего мне ждать? Тоска! Тоска!»
«Евгений Онегин»

Это собрание...

О-о-о! Это собрание! Ужас, ужас... Тихий ужас! Чехов прав: «Так жить нельзя. Надо застрелиться!» Пушкин, «Скупой рыцарь»: «Проклятое житье!» Блок: «Живи еще хоть четверть века,— все будет так. Исхода нет»...

Ужель и вправду исхода нет, и он обречен сгнить духовно и физически в этих буднях?

Петр Филиппович Кутьин, 63-летний писатель, пришел в крайне растрепанных чувствах с писательского собрания в свою малометражную квартиру на седьмом этаже панельной девятиэтажки в одном из спальных районов областного города и, как был, в куртке и ботинках завалился на диван да и замер, тупо и тоскливо уставившись в потолок, оклеенный пожелтевшими от времени и кое-где уже отвалившимися обоями.

— Сил моих больше нет! — злобно прошептал он, швырнул кожаную кепку в угол и закрыл глаза, словно пытаясь забыться сном. Но какой уж тут сон?! После каждого такого собрания он отходил дня три, не меньше, а нынешнее достало его почему-то больше всех других.

Собрание регионального отделения Союза писателей России, столь расстроившее моего героя, закончилось часа полтора назад. И расстраиваться-то, собственно говоря, было ну совсем не из-за чего. Что там было-то? Да ничего особенного. Все как всегда. Но именно эта обычность, рутинность без всякого просвета и напрягла душу, и стала каплей, переполнившей чашу его терпения.

В выступлении председателя отделения Сергея Ивановича Кукушкина, худощавого, узкоплечего, невысокого человечка с большим острым, напоминающим птичий клюв, носом и бесцветными глубоко посаженными глазками, не было ни одной хорошей новости. Сплошь негатив. Финансы поют романсы. Нынешнее помещение, красивый старинный особняк в центре города придется освободить и переезжать невесть куда, чуть ли не на окраину. Единственный журнал писательской организации влечит жалкое существование и вот-вот закроется. Об издании книг не может быть и речи опять-таки по недостатку финансирования. Деньги, деньги, деньги! Всюду деньги, черт бы их побрал! Вот он и побрал. А кто же? Без него не обошлось, уж это точно!

В перерыве много говорили о последовавшей недавно смерти писателя Игоря Арясьева. Его нашли мертвым в небольшом деревянном старом доме на одной из окраинных улиц областного центра. Игорь Васильевич лежал на кровати, грязной и растерзанной, сбитой. На его теле уже ясно показались следы тления. Видимо, смерть произошла несколько дней назад. В крови было обнаружено большое количество алкоголя. В медицинском заключении написали: «Внезапная остановка сердца. Алкоголизм».

Говорили о тяжелом психическом заболевании писателя, когда-то очень известного не только в области, но и на всю страну — СССР. Страна исчезла, и он исчез. В старой, порванной картонной коробке были обнаружены его рукописи и заметки, сделанные таким неряшливым, неразборчивым почерком и находившиеся в таком беспорядке, что никто не стал разбирать их, а передали коробку Кутьину, который был наиболее близок к Арясьеву, одно время дружил с ним. Кутьин тоже сразу эти материалы разбирать не стал, а поставил коробку до времени под свой письменный стол.

Много позже, разбирая переданные предсмертные записи Арясьева, Кутьин прочтет это и многое другое и поймет, хотя и не сразу, причину его ухода. Слом, трагический слом наступил в его душе, как и в душах многих творческих людей, после гибели той страны, в которой он жил, сформировался как личность, которую любил и воспевал в своих романах и повестях. Не стало страны, кончилась она, как в свое время Российская империя, за неделю, и жизнь кончилась. Не о чем стало писать, некого славить. Гнать чернуху и порнуху? Писать детективы и эротику? Ну уж нет! Как-то незадолго до смерти Игорь сказал: «Я, конечно, проститутка, но не до такой же степени!»

Писательский труд в одночасье обесценился, слово утратило (так казалось многим писателям) свой смысл и значение. А встроиться в новую реальность многие, в том числе и Игорь, не смогли да и не захотели. По России прокатилась волна самоубийств, и люди творческие сводили счеты с жизнью чаще других, потому что были наименее защищенными и наименее приспособленными к превратностям нового бытия. Чужой, враждебной стала жизнь, и лучше всего состояние писателей, художников, музыкантов выражали слова поэта Батюшкова: «Стихи закончились, и я не знаю, что мне делать далее в этой жизни». Батюшков в итоге сошел с ума.

А в наше время творческие люди сводили счеты с жизнью. Самоубийства Юлии Друниной, Ники Турбиной, духовное самосожжение Высоцкого, Рождественского, великого композитора Георгия Свиридова и многих других... Хотелось бы написать: всколыхнули всю страну. Но нет, не всколыхнули, прошли почти незамеченными. Люди гнались за деньгами, думали о том, как выжить в новой реальности, и им было

не до музыки, полотен и стихов. Это равнодушие, «окамененное нечувствие», как прекрасно определяет такое состояние душ Церковь, убивало сильнее пуль, петли или яда.

Арясьев выбрал самый долгий и мучительный способ самоубийства — алкоголизм. В последнее время пил он не просто много, а очень много, как говорили, ему не хватало на день трех бутылок водки. Но на выпивку нужны деньги. Денег не было. И он распродал все: мебель, столовый сервиз, серебряные ложки, ножи и вилки, продал старое, уникальное пианино, причем за бесценок. Продал почти все, оставив стол, два старых стула, платяной шкаф и продавленный, рваный диван, на котором спал и на котором умер.

Такой же «запойный характер» носила и его творческая работа. Когда на него «находило», он запирался ото всех и писал, писал, писал. До изнеможения, днем и ночью, забывая о еде и сне. Он питался в эти дни только черным хлебом да крепчайшим чаем. А когда муза отпускала его, выходил на свет Божий небритый, похудевший, с блестящими диковатыми глазами. «Кажись, получилось что-то», — говорил он коллегам-писателям. Но получалось не «что-то», а нечто весьма интересное и талантливое. Игорь не был поэтом, он писал прозу, но какую! Лучшие ее образцы не уступали высокой поэзии.

«Вечер умирал... Плавно, отрешенно, как сомнамбула, шла по пустынному полю огромная рыжая луна осени»...

«Ранним утром, выйдя в сад, я услышал шорох тумана»...

«Весь день на стылом ветру звенели, динькали льдинки на ветках»...

Его взлет, пришедшийся на 70-е годы прошлого века, был ярким и стремительным. Тогда еще не закончилось в нашей литературе время чудес, еще можно было уснуть никому не известным, а проснуться знаменитым на весь Союз. Так и случилось с 25-летним журналистом областной газеты Игорем Арясьевым, опубликовавшим в журнале «Юность» свою повесть «Каменотес» — волнующее повествование о том, как сельский кузнец своими силами, без всякой помощи, поставил памятник своим односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Это было в духе тогдашнего времени с его патриотическим пафосом, доходившим иногда до высокой патетики, а иногда — до демагогического пустозвонства. Вот такие были две крайности, два полюса. У Игоря получилось первое, то есть патриотизм и патетика, получилось ярко и талантливо. И понравилось, и пошло. О «Каменотесе» хорошо отозвались Солоухин, Астафьев и Полевой. На Арясьева стали все чаще указывать как на одного из талантливейших молодых писателей, рожденных советской эпохой. По его повести был снят фильм, ее инсценировали три московских театра. Словом, это была настоящая слава.

Арясьева наперебой приглашали на разного рода творческие семинары, встречи, коих в ту пору проводилось великое множество. У него часто брали интервью газетчики и тележурналисты, и он, ощущая себя хоть и молодым, но все же уже почти классиком, поучал, изрекал истины, морализировал.

Он быстро ухватил то, что называется духом времени, сразу и хорошо понял, чего от него хотят, и давал именно то самое, в образной огранке. В свое время так же служил власти Алексей Толстой, да и не он один. Арясьев, конечно, был далеко не Толстой, но принцип служения был тот же: ухватить, уяснить, что нужно, и это самое, как на блюдечке с голубой каемочкой выложить в своих «алмазных строках». Нужны производственные романы? Пожалуйста! И он писал о металлургах, оружейниках, химиках. Село? С нашим удовольствием! Вот роман о председателе — новаторе, борющемся за новые севообороты и современную технику. БАМ? Натев вам! Он едет на БАМ и пишет повесть «Зеленое море тайги» о строителях магистра-

ли. Там есть все, что положено: конфликты, стройка, любовь. И все в том духе и в той идеологической направленности, как положено: и руководящая роль партии, и комсомольский задор и почин. Патриотика, преемственность поколений? А вот вам роман «Сыновья» о трех поколениях рабочей семьи. И так далее, и тому подобное. Уже утратил он то, что было у него в «Каменотесе», повести действительно талантливой и яркой, живое, образное, за душу берущее начало, а стал ловким, умелым конъюнктурщиком, который может написать что угодно и о чем угодно, лишь бы это издавалось и продавалось! Он стал лауреатом премии Ленинского комсомола, ему в высоких литературных кругах уже прозрачно намекали на Государственную. Нужен был роман о целинниках. Он оформил командировку на целину, в Казахстан, поехал, собрал большой материал. Но что-то у него с этим романом пошло не так. Ну не получался он и все! Не складывался. А потом умер Брежнев, и тема целины стала как бы уже и не такой нужной, не такой актуальной. А там и вовсе развалился Союз, настала другая жизнь, в которой в гробу все видали и целину, и космос, и Малую Землю, и все, чем гордились в советское время.

Этого он уже не выдержал. Тело, и мозг и душа, стали давать все более явственные сбои. Накопилась усталость, то болезненное напряжение, которое приводит к быстрой растрате физических и творческих сил. Навалилась глубокая депрессия. Раньше (уж Кутьин-то это хорошо знал!) Арясьев почти не пил, а так, пригубливал и ставил. А теперь он стал все чаще и все в больших дозах употреблять крепкий алкоголь: сначала коньяк и виски, а потом, когда денег на дорогие напитки не стало, — водку и дешевый портвейн. В последнее время Петр иногда встречал его на улицах, на остановках. От прежнего элегантного, уверенного в себе, вальяжного Игоря Арясьева ничего не осталось. То была бледная тень его. Когда-то полноватый, он теперь иссох и превратился едва ли не в мумию. Карие глаза, еще не так давно глубокие и выразительные, ввалились и потухли. Света не стало в них. Вместо элегантности в одежде появилась неряшливость. Он зимой и летом ходил в старой, затертой куртке, стоптанных ботинках и какой-то неопределенного цвета и фасона шапочке. Ни с кем не общался, жил один, шатался по закусочным и пивнушкам, приставал к компаниям выпивох, выпрашивая пива и немного водки. Его не гнали, угощали, его уже знали в этих заведениях и даже называли «писателем». Он был вроде дурачка, блаженного. «А писатель не заходил?» — «Не-а». — «Ну зайдет! Вот клоун-то!» — А он и действительно превратился в своего рода клоуна, потешал публику разными рассказами, анекдотами, а то и стихами. Хохотали над ним до упаду. И просили-приказывали: «А ну, писатель, сказани еще чего-нибудь!» — «Горло бы промочить надо!» — прозрачно намекал Игорь. «Да нет проблем! Налейте ему. Пей, писатель! Уж больно потешно ты врешь!»

Писал ли он что-нибудь? В последнее время точно — нет. Где ж писать в постоянном алкогольном угаре? Говорят, талант, мол, не пропьешь. Вранье! Именно талант и пропивается в первую очередь. Мозг атрофируется, душа скукоживается и становится почти бесчувственной ко всему, кроме алкоголя, а потом и его уже не чувствует, и требуются все возрастающие дозы, чтобы хоть как-то расшевелить ее. Но и они вскоре перестают работать, и тогда наступает смерть, сперва духовная, затем и физическая. Тот, кого в последнее время в редких встречах видел Кутьин, уже не был его другом, писателем Игорем Арясьевым, еще недавно известным на всю страну, лауреатом премии Ленинского комсомола и одним из наиболее вероятных кандидатов на Государственную премию. Это был ходячий мертвец с потухшими глазами, иссохшим и увядшим телом и тяжелым шумным дыханием. Во время одной из встреч он уговорил-таки Петра зайти с ним в закусочную. «Угости друга-то на-

последок», — горько улыбнувшись, попросил он. И это «напоследок», упоминание о дружбе, когда-то действительно бывшей между ними, и весь его жалкий, опущенный вид горько и щемяще отозвались в душе Кутына, и ему стало до слез жалко Игоря. Захотелось обнять его, сказать ему какие-то теплые, хорошие слова.

— Игорь, Игорь, — произнес Кутын тихо, — что с тобой случилось? Как это все могло произойти?

— А! — махнул рукой Арясьев. — Что теперь говорить? Кончено, брат! Помнишь, как у Пушкина-то? «Пришла худая череда. Зашибло!»... Ах, как точно! Ну, пойдем, что ли?

— Ладно. Пойдем.

— Вот и хорошо! Вот славно! — оживился и повеселел вдруг Арясьев. — Ты, Петь, ты всегда мне был настоящим другом. Потому что... Потому что ты можешь понять... Понять потребность творческого человека!

Он умолк, видимо, поняв, что зарাপортовался и потерял нить своей путаной мысли. Зашли в закусочную, довольно чистую, приличную. Петр заказал графин водки и закуску: два мясных салата, два бокала томатного соку. Он видел, как у Арясьева, от многодневного запоя, дрожали руки и нижняя челюсть.

— Ну, давай, — сказал Игорь, — за упокой души русского писателя Игоря Арясьева. — И криво ухмыльнулся.

— Прекрати! — прервал его Кутын, которому от этих слов стало не по себе. — Прекрати! Ну и юмор у тебя! Раньше ты шутил гораздо тоньше и остроумней.

— Так то раньше, — вздохнул Арясьев. — То раньше. Раньше все было. А теперь. Та жизнь рухнула, и во мне что-то сломалось. Сломалось. И не склеишь. Помнишь, что Батюшков сказал в минуту просветления? Он уже сумасшедший был... «Я, — говорит, — похож на человека, который нес на голове сосуд, чем-то наполненный. Сосуд упал и разбился. Поди теперь узнай, что в нем было: драгоценное вино или простая вода?» — Вот так и я.

Это была последняя разумная мысль, которую услышал на этой земле Кутын из уст своего друга, теперь уже бывшего. Далее Арясьев быстро захмелел, как и все алкоголики, стал хвастать, размахивать руками, говорить громко, даже неприлично громко, требовать еще водки. Кутын сказал, что пить с ним больше не будет.

— Брезгуешь, — скривился Игорь. — Правильно делаешь. Я кто теперь? Бомж! Клоун! Ладно, черт с тобой. По былой дружбе прошу: дай тысячу!

Кутын понимал, что если он даст, то Арясьев тут же эти и пропьет, но отказать почему-то не смог и дал. Дал и стал прощаться.

— Ну, пока, Игорек, до свиданья. Мне еще по делам...

— Прощай, — слабо махнул Арясьев.

Кутын отошел и оглянулся. Одинокая, жалкая, склоненная над стаканом с водкой фигура Арясьева навсегда врезалась в его память и поранила душу до крови, до слез.

Он шел по улице. Был ненастный, ветреный день. И слезы, самопроизвольно, помимо его воли текущие по лицу, мешались с каплями дождя. «Господи, Господи! — думал Кутын. — И с таким умом и талантом, с таким тонким чувством слова и природы так упасть, разбиться и смешаться с грязью! Превратиться в совершенное ничтожество. Почему? Как? Видимо, потому, что Бог не сковывает человека, оставляя ему свободу воли, свободу выбора: жить или умереть, взлететь или пасть. А если человек, как вот тот же Арясьев, не знает Бога и никогда не знал? («Какой там Бог? — как-то сказал Игорь еще в расцвете своей славы и творческих сил. — Какой Бог? Наши космонавты его не видели!») Он ошибался. Все видели наши космонавты: и Бога, и Ангелов, и демонов. Только предпочитали в силу известных причин помалкивать об этом, кое-что (далеко не все) стало известно лишь совсем недавно.

Так вот: если человек не знает Бога, он становится слугой сатаны, попадает под власть бесов. Многие, даже великие, погибли так, начиная с Гоголя и Льва Толстого до Есенина, Маяковского, Рубцова и Высоцкого. Иным удалось выбраться уже у смертной черты, а другие так и ушли в область ада.

Больше они с Арясьевым не увиделись. И вот теперь — известие о его смерти. Оно не слишком поразило ни Кутьина, ни кого-либо из писателей. Смерть была ожидаемой. И на миг все словно заглянуло в черную бездну. И в ужасе отпрянуло. И еще сильнее и глубже занялись текущими, обыденными делами, чтобы заглушить это тяжелое воспоминание.

Арясьева почтили вставанием и минутой молчания, как это водится, а дальше все пошло по наезженной колее, словно ничего и не произошло особенного. Кутьин хотел выступить, сказать живое, пронизанное болью слово, но, поглядев в эти холодные, усталые глаза своих коллег-писателей, понял: некому тут говорить, не к кому обращаться. Сиди и молчи.

Потом как всегда скандально выступил извечный возмутитель спокойствия высокий, худой, остроглазый и остроносый поэт Семен Камышин, уличавший руководство отделения в присвоении бюджетных денег и отсутствии конкретной заботы о членах Союза. С ним схлестнулся лысый и низенький прозаик Владимир Николаевич Сметанин, назвавший Камышина «ядовитым пустозвоном», на что Семен крикнул: «А ты, Володь, бездарность!» Сметанин кинулся было драться. Их едва растащили. Потом уже один и писателей не без остроумия сострил: «Шумел Камышин, мы все гнулись, а ночка темная была!»

Затем возник очень интересный, волнующий многих вопрос: а куда это деваются бюджетные деньги, выделяемые региональному писательскому отделению на издательскую деятельность? 600 тысяч в год хоть и невеликая сумма, но все же, все же... Выяснилась, что тайна сия велика есть и едва ли не подобна загадке НЛО или египетских пирамид. Однако ж эту тайну поручено было разгадать ревизионной комиссии и доложить о результатах на следующем собрании.

Потом приняли в члены Союза некоего Мансура Ибрагимбекова, предпринимателя. Литературного таланта у него не было, зато было много амбиций и много денег, а деньги по нынешнему времени решающий аргумент, они все двери открывают. Нездаром и на областном собрании Мансура приняли, и Москва его утвердила. Он издал за своей подписью три книги в твердых глянцевых обложках и на прекрасной бумаге, которые за него написал талантливый журналист и горький пьяница Сергей Беловзоров. Многие читали и дивились: какой у этого Мансура стиль, какая образность! Вот, оказывается, и среди предпринимателей одаренные люди есть! И все знали подоплеку «таланта», но закрывали на это глаза. Раз уж Дюма пользовался услугами «литературных рабов», так нашему-то Мансуру и сам Бог велел!



Александр Сегень
(г. Москва)



ГОСПОДА И ТОВАРИЩИ
Роман в двенадцати днях
Главы из романа

Русский писатель и кинодраматург. Окончил Литературный институт (семинар А. Рекемчука), выпускник Высших офицерских курсов «Выстрел». Печататься начал с 1986 года — журнал «Юность», рассказ «Деревяшка». Автор романов и повестей на современные темы. Не раз обращался к написанию романов, действие которых разворачивается в разные исторические эпохи. Для серии «Жизнь замечательных людей» написал книги «Московский Златоуст» о святителе Филарете (Дроздове), митрополите Московском и Коломенском, и «Алексий II» о Патриархе Московском и всея Руси. Произведения автора переведены на многие языки мира. Доцент Литературного института, в котором преподает с 1998 года. Автор сценария фильма на основе собственного романа «Поп», по которому режиссер Владимир Хотиненко снял одноименный художественный фильм. Написаны сценарии ко многим фильмам. Сыграл эпизодические роли в фильмах Хотиненко «Поп» и «Достоевский». Председатель экспертной комиссии и член палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 24 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
РАДОСТЬ МОЯ

— Веселья! Па-а-ад... бавь! — крикнул поручик Ровный, и серый отряд сонных юнкеров вздрогнул, словно проснувшись, стук шагов по мостовой ожил. Запевала Печкин громко зазвенел в осеннем промозглом воздухе:

*Браво идут юнкера александровцы,
Серебром погоны на солнце горят.*

И молодые глотки лихо подхватили, разнося песню по всей Знаменке, во все переулки:

*Грянем «ура!», лихие юнкера!
За матушку Россию, двуглавого орла!*

Юнкер Гагарин не преминул при этом глянуть на шагающего рядом юнкера Щеглина: мол, получи же!

Дело в том, что Гагарин продолжал настойчиво петь в припеве прежний вид, а именно: «За матушку Россию, за русского царя!» И не далее как вчера они со Щеглиным поцапались.

— Гага,— сказал Щеглин,— ты когда соизволишь петь как все? Девятый месяц в России никакого царя.

— А для меня есть,— упрямо насутился Гагарин.

— Гражданин Романов?

— Государь император Николай Александрович. Для меня он был и остается нашим отцом. Шефом нашего училища.

— Но ведь это глупо, Гага. История движется вперед неумолимо. Россия республика. Полагаю, что навеки.

— Посмотрим.

— К тому же, и рифма смешная. Ты уж тогда пой не «юнкера», а как извозчики говорят: «юнкаря». Это с царем в рифму будет. «Грянем «ура!», лихие юнкаря»...

— Можно подумать, что рифма «юнкера» и «орла» точнее.

Едва не кончилось дракой. Вовремя подвернулся Печкин, которого Гагарин с летних лагерей считал своим закадычным другом и выручалой. Тогда он спас его от старца, сейчас — от бессмысленной потасовки с циничным Щеглиным.

Печкин считался поэтом их второй, звериной, роты. Был он музыкант и превосходный шахматист, но славился именно как поэт. Сначала над ним издевались: «Что это за поэт Печкин?» Но он отбивался, говоря: «И Пушкин кому-то покажется смешным, а уж особенно Грибоедов...»

Стихи его постепенно вошли в жизнь, их переписывали, а поскольку инициалы у Александра Степановича Печкина были как у Пушкина, то за ним укрепились кличка «А. С. Печкин».

— В прежнем варианте,— рассудил он,— рифмовались не четвертая с третьей, а вторая с четвертой. «Горят» — «царя». А сейчас, с изменением государственного строя в России, все рифмы полетели в тартарары.

И теперь Гагарин мог поглядывать на Щеглина несколько торжествующе: можешь, дурак, и впредь жить без царя в голове!

Быстро оставив за спиной фасад родного училища, юнкерское отделение из двадцати человек пропустило летящий трамвай и вышло в чуждый и враждебный мир утренней Москвы. Чугунный Гоголь, отвернувшись от суетливой Арбатской площади, проводил юнкеров своим длинным подслеповатым взором, вздохнул: «Це не доброе дило мы зробылы...», и снова задремал.

А юнкера бодро свернули в Пречистенский, и теперь их звонкая песня летела не на запад, а на юг:

*Слева и справа идут гимназисточки,
Как же нам, братцы, равнение держать?
Грянем «ура!», лихие юнкера...*

Увы, ни слева, ни справа на сей раз не видать было гимназисточек, которые бы весело помахали им ручкой, припрыгивая. Вместо них по бульвару шли какие-то угрюмые личности, видать, изрядно постаравшиеся для сегодняшнего похмелья, как в таких случаях говаривал юнкерский любимец-наставник — поручик Снегирев.

Одно из этих существ, отхаркнувшись, грязно выругалось вслед молодцам и добавило:

— Скоро мы этих юнькирьчат...

Но мало кто это услышал, и песня продолжала печатать шаг по длинному бульвару, шелестящему лысеющими деревьями:

*Съемки примерные,
Съемки глазомерные,
Вы научили нас девушек любить!
Грянем «ура!», лихие юнкера...*

Положа руку на сердце, это была песня чужая, по закону принадлежавшая Николаевскому кавалерийскому училищу. Но уж больно хороша, и нравилась поголовно всем юнкерам на всем пространстве матушки России, потому и в каждом военном училище, будь то Москва или Киев, Одесса или Тифлис, Иркутск или Петроград, ее дружно пели, переиначивая и подлаживая под себя. Эскадронного заменяли ротным, где-то пели гимназисточек, а где-то институточек, где-то съемки научили девушек любить, а где-то женщин, но суть песни оставалась одна — удаль и бесшабашность.

И чем больше они приближались к концу песни, к бутылочке, тем веселее им становилось на душе. И ведь недаром же их сняли с занятий сразу после осмотра, молитвы и чая. Идут куда-то по важному поручению, предводительствуемые самим поручиком Ровным, начальником военно-политического отдела штаба округа.

*Бравый наш ротный скомандовал: «Смирно!»
Руку свою приложил к козырьку.
Грянем «Ура!», лихие юнкера,
За матушку Россию, двуглавого орла!*

А Гагарин гнул свое: «за русского царя!»

Но настало время бутылочки, которую ротный обязан был запретить, а юнкера обязаны были его не послушать, потому что времена нынче вольные такие, что даже в военных училищах себе кое-что позволяют.

— От-ставить бутылочку! — с усмешкой крикнул поручик Ровный, но юнкера — нет, окончили песню, как полагается:

*Радость моя
Любимая —
Буль-буль-буль бутылочка зеленого вина!*

* * *

Алексей Алексеевич наслаждался домашним уютом; тем, что, вот, погода надвигается самая слякотная и промозглая, а он посиживает в своем кабинете, и не надо ему ни в штабы, ни на передовые, никудашеньки. Позавтракав, можно сидеть у окна в кресле и, не спеша, листать свежие газеты, поругивая газетчиков, будто все, что происходит в стране — только их лохматых рук дело.

«Тревожные дни...» «Начало восстания...» «Большинство войск на стороне большевиков...» «Железные дороги в руках солдат...» «В Смольном создан Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских...»

— Э, ты ж!.. Эти мне рабочие и солдатские!..

Далее «Раннее утро» сообщало о кощунстве в Успенском соборе Кремля, где пьяные солдаты пятьдесят шестого резервного полка сорвали покровы с мощей святителя Ермогена.

— Вот они вам, полюбуйтесь!..

В Москву приехал писатель Чириков. Горький уже тут несколько дней. Его сын служит в пятьдесят шестом запасном пехотном полку, который теперь стоит в Кремле. И полк-то — краснопузенький!..

А сколько афиш разных кривляк-юмористов! Россия летит в тартарары, а публика собирается полными залами и ржет до опупения. Театр легкой комедии... Фарс «Блудлив, как кот»... Пьеса «Кривое зеркало»... Каждый вечер представление «Смехляндия», в котором два остряка, переодетые старушками, потешают до беспамятства. А в театре сатиры нескончаемыми аншлагами ежедневно спектакль с весьма красноречивым заглавием — «Ко всем чертям!» Зрители ухохатываются...

— А этих-то, этих сколько! — проворчал Алексей Алексеевич, дойдя до последней страницы газеты, где, словно красная сыпь, сплошь объявления о сифилисе да о триппере, да о половой слабости. И еще о «половом бессилии при полном половом истощении». Все вылечим! — Это ж надо! Человек уже довел себя до полного полового истощения, а ему: «Ничего-с, пилюльки... И пожалте, еще сколько угодно кувыркайтесь!» А доктора-то, доктора... Все сплошь эти...— И Алексей Алексеевич не поленился вслух прочесть все фамилии докторов, предлагающих услуги в лечении срамных болезней и срамного бессилия: — Левин, Шапиро, Шмулевич, Розенталь, Леви, Шниткинд, Коган, Кац, Вельзевуттер... А впрочем, грешно судить, ибо и при фронтовых госпиталях мне нередко встречались и Лифшицы, и Рошали, и Аронсоны...

Он перешел к «Биржевым ведомостям»: «На грани...» «Россия на краю пропасти...» «Заявление генерала Алексеева о том, что власть должна проявить твердость...»

— Да уж, твердость... У Керенского!.. Да с Алексеевым.

«Вчера в двенадцать часов дня к Зимнему дворцу подошел женский добровольческий батальон».

— Гуси, гуси, га-га-га! Те Рим спасли, а Керенского бабы спасать приперлись...

«Закрытие большевистских газет...» «Грозный час для Италии...» Это с европейского фронта, где итальянцы получили по зубам от немца и австрияка.

— Ну-ну... Смотрите, и у вас появятся сеньоры большевицци!..

Война для него закончилась. Хватит, навоевался! Он провел самую блистательную военную операцию за всю эту мировую бойню, и вот, смещен с поста главнокомандующего! Обида в Алексее Алексеевиче до сих пор горела незаживающей раной. Пусть теперь другие покомандуют, а мы посмотрим, как вы обойдетесь без Брусилова!

Алексей Алексеевич понимал, что это скверно, но внутри себя все равно тешил себя мыслями о том, как все рухнет, и никто не сможет справиться с германцем, потому что лучшего полководца отправили отдыхать. С горечью вспомнилось, как однажды услышал о себе: «Он возомнил, что у нас уже не Россия, а Брусилия!»

Одна статья сообщала о предстоящем сокращении света, то есть ограничении часов подачи электроэнергии, но звучало зловеще, и Алексей Алексеевич не удержался, чтобы не фыркнуть:

— Конец света наступит постепенным сокращением!

«Московский листок» подробно рассказывал о событиях в Калуге, где творилась настоящая пугачевщина. Озверелая вольница громила и грабила магазины, зажиточных обывателей, всех подряд. Убивала, жгла, насилывала. Войска применили силу...

И тут же рядом опять: в Сатире «Ко всем чертям», в театре «ЗОН» «Король веселится», а при гонорее нет лучшего средства, чем капсулы «Кубеноль», реклама которых на полгазеты, заслоняя все происходящее, все страшное, творящееся в родной стране.

— Алексей Алексеевич, к вам гости,— сообщил шурин, вежливо постучав в дверь к отставному генералу.

Старший брат жены генерал-майор Яхонтов некоторое время служил адъютантом Верховного главнокомандующего Брусилова, пока Алексея Алексеевича не отправили в отставку, а месяц назад и сам по болезни был отправлен в отставку и теперь обитал у Брусиловых в Мансуровском переулке.

— Спасибо, Ростислав Владимирович, просите.

* * *

Сердце Гагарина билось все сильнее и тревожнее. Поначалу он ни о чем таком и не думал. Скорее всего, Ровный вел их на Пречистенку, к штабу Московского военного округа. И действительно, мелькнул и остался за спиной слева в серой осенней

полумгле бело-золотой Христос Спаситель, юнкера свернули направо и, уже без песни, зашагали к зданию штаба.

Но нет, поручик вел их еще дальше, мимо известной усадьбы богача и музыканта Всеволожского, перестроенной купцом Степановым под псевдоклассику. Они шли уже без песен, и чем дальше, тем сильнее билось сердце. Там, впереди, был переулок, слишком хорошо знакомый юнкеру Гагарину. Туда он имел обыкновение приходить, стоял там под окнами, уходил из переулочка то счастливый, то с мыслью: «Застрелиться!» И теперь он, кажется, догадывался, куда их ведут. В том же заветном доме, к которому он хаживал, жил Кутузов нынешней войны, в пух и прах разгромивший Австрию в Голиции, и если бы не помощь Германии, мы уже сейчас стояли бы в Вене. Благодаря этому маленькому сухонькому генералу от кавалерии с бравыми седыми усами, торчащими в разные стороны. Теперь он был не у дел, как некогда бывал отставлен и сам Суворов. Но придет время, его вновь призовут к победам!..

И впрямь, они миновали Дурнов и Лопухин переулочки, справа осталось за спиной пожарное депо, слева Полуэктовский...

Какой-то торгаш-асмодей при виде юнкеров крикнул:

— Эй, корпусятники! Купите коробочки! Полнографические!

И стал показывать свой поганый товарец, но никто в его сторону и бровью не повел.

Вот он, многоколонный Александро-Мариинский женский институт, в котором училась она... А вот прошли мимо Морозовской галереи и свернули в Мансуровский переулок, в котором она жила... В том же доме, где отставной герой генерал.

Она. Людмила. Роковая женщина в жизни юнкера Петра Гагарина. При ней он, высокий здоровяк, один из самых крепких парней во второй роте второго курса, становился робким и мяклым, словно моченое антоновское яблоко, некогда каменное. С этим он ничего не мог поделать. Злился на себя, но все равно, из рук валялись предметы, падала на блюдце чашка с чаем, хрупкий фарфор разбивался, чай ошпаривал колени, а отец Людмилы профессор Голубев, член Московской думы, а сейчас, вдобавок, и участник Собора Русской Православной Церкви, умирал со смеху:

— Таковые богатыри, должно быть, только из братин пьют. Из этих, как их там... Из ендов. Из двуручных кубков. Что им наши чашечки!

У Виктора Николаевича Голубева было две дочери, Людмила и Ангелина. В сентябре он затеял в своей огромной квартире небольшой бал и через знакомство с начальником Александровского училища выпросил четверых юнкеров, таких, чтобы не хлюпки, но образованные, чтобы знали толк в музыке и в поэзии, но при этом вид имели крепких молодых мужчин. С того дня все и началось.

Когда Гагарин увидел Людмилу — будто в грудь его толкнуло, как при отдаче в момент выстрела из ружья. И Петр Иванович потерял голову. Дважды он еще был у Голубевых в гостях и несколько раз встречался с Людмилой тайно, они бродили по осенним бульварам, шуршали листвой, а когда темнело, и никого не было поблизости, долго и мучительно целовались.

А потом произошла катастрофа.

— Милый мой мальчик... Я скверная, гадкая... Я сама не могла представить, что смогу одновременно любить двоих. Ты должен застрелить меня! Это какое-то наваждение. Мое сердце принадлежит тебе, но когда я вижу его, то во мне все переворачивается, и я ничего не могу с собой поделать!

Соперником оказался поручик Дорогин, состоявший в пятьдесят шестом резервном полку, который нес охрану Кремля. Полк этот имел весьма дурную репутацию. Распропагандированный большевиками, он готов был защищать их, если они решатся взять всю власть в России в свои руки. Сергей Владиславович Дорогин сам при-

надлежал к большевизии. Красивый, с дерзким взглядом мужчины, привыкшего покорять женские сердца. У Гагарина перед ним было лишь одно преимущество — благороднейшее происхождение, но что оно теперь значило! Во всем остальном Дорогин превосходил юнкера. Взрослый человек, под тридцать. А Гагарин вдвоавок еще и моложе Людмилы, хоть и всего на год. Что бы ему влюбиться в младшую, в Ангелину, которой на два года меньше, чем сестре! Но ведь сердцу не прикажешь...

Бедный Гагарин! Как только появился этот Дорогин, жизнь превратилась в сущий ад. Он с ужасом боялся даже прикоснуться мыслью к тому, как далеко зашло у Людмилы с опытным и смелым Дорогиным. Неделю назад состоялся разрыв. Гагарин смог позвонить из училища по телефону, договорился с Людмилой о короткой встрече, которая вся состояла из того, что девушка передала ему письмецо: «Прости меня, Петенька! Я не достойна тебя! Ты больше не должен меня видеть. Я виновата, что дала тебе надежды, а теперь их забираю. Бог меня, должно быть, накажет за это. А ты — чистый и светлый мальчик, у тебя впереди славное и высокое будущее. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай! Л. Г.»

Это случилось в прошлую среду днем. По средам у юнкеров вторая половина дня была свободна, и что ему было делать с этой бесконечной страшной половиной, он не знал. То, что он застрелится, можно не сомневаться, но именно ли в тот же день? И Петр Иванович размыслил так: застрелиться сразу по получению отставки от любимой женщины — скажут, порыв, минутная слабость. Нет, он должен как в рассказе Куприна. Осознанно подготовиться, написать подробное письмо о своих поруганных чувствах, обставить уход красиво.

Куприным, как писателем, выпущенным в свое время из стен их училища, александровцы увлекались поголовно. Гагарин перечитал все, что вышло из-под его пера. Особенно после того, как во время второй встречи в доме в Мансуровском переулке, сидя за чаем у Голубевых, Петруша испытал жгучий стыд за свою неотесанность. Мать Людмилы, Ирина Дмитриевна, заговорила о литературе, стала спрашивать:

— Ну-с, товарищи юнкера, кого вы читали запоем в последнее время?

Она была из прогрессивных и, видать, после февраля с восторгом восприняла отмену обращения «господа» и замену его на «товарищи».

«Товарищи юнкера» — а на чаепитие были приглашены на сей раз только двое, Гагарин и Печкин — оказались ни в зуб ногой. Печкин хотя бы в поэзии кое-как разбирался, знал наизусть Пушкина, Лермонтова, Гумилева, но и то сказать, свои стихи он помнил лучше. А вот Гагарин совсем опростоволосился, когда его спросили, что последнее он прочитал у Куприна.

— Стыдно, товарищ юнкер! Особенно стыдно потому, что Александр Иванович Куприн — выпускник Александровского училища, в котором вы имеете честь проходить становление. Чем же вы занимаетесь в свободное время? В безик режетесь, как бывший государь император? Страшилки друг другу рассказываете?

И к следующему визиту в Мансуровский Петр Иванович расстарался. Он готов был рассказать содержание всего прочитанного. Даже истрепанный и измученный сборник «Земля» с полузапрещенной «Ямой» он сумел-таки раздобыть на одну ночь и одолел, испытав настоящий шок от распахнувшихся откровений писателя.

Увы, сколько он ни старался повернуть разговор в нужном направлении, о литературе и о Куприне на сей раз ни у кого не было желания говорить. Говорили и спорили о живописи, о каких-то мирискусниках и экспрессионистах. Стреляли, шипели, лопались, трещали и плавилась незнакомые ему имена — Бенуа, Добужинский, Бакст, Лансере, Сомов, Барлах, Пехштейн, Нольде, Шмидт-Ротлуф, Дикс — а он сидел и моргал от обиды, что и теперь не может свободно и легко участвовать в разговоре. Что такое сионизм, он знал, а экспрессионизм — стремительный сионизм, что ли?.. Так и хотелось задать этот дерзкий вопрос.

В тот вечер его утешила Людмила. Когда они ненадолго остались вдвоем, она сказала об Ирине Дмитриевне:

— Терпеть не могу, как она начинает обо всем подряд сыпать, заваливать собеседника своей эрудицией. Это, в конце концов, бывает весьма неучтиво! Соседство Морозовской галереи дурно на нее влияет.

В тот вечер состоялся их первый мимолетный поцелуй...

Боже, как все мимолетно! И вот он уже отверженный, предпочтенный другому мужчине, перестрадавший. И, что удивительно, он так и не собрался с духом написать подробное письмо родителям и грядущим поколениям юнкеров о причинах своего самоубийства, ничего так и не подготовил, не обставил красиво, и никакого самоубийства так и не совершил!

Сейчас, когда их отряд выстроился в Мансуровском прямо напротив заветного дома, Гагарина жег стыд за то, что он до сих пор жив, и явился сюда. А что, если она выглянет в окно и увидит его? Выхватить в ту минуту из кобуры револьвер и пустить себе пулю в висок. У нее на глазах. Среди бела дня. В присутствии товарищей по училищу. При начальнике военно-политического отдела. Быть может, на глазах самого генерала Брусилова, если и он выглянет из окна. Это было бы весьма эффектно!

Ах, да, ведь сегодня вторник. Людмила в институте. Скорее всего на литургии в институтской церкви. Ведь сегодня праздник, Всех Скорбящих Радость.

— Господа юнкера, смирно! — скомандовал Ровный. В отличие от Людмилиной мамы, он не употреблял обращения «товарищ», которое за лето и осень почти полностью стало принадлежностью красных. — Мы находимся пред домом, в котором проживает прославленный русский генерал Брусилов. Летом сего года он являлся главнокомандующим всеми вооруженными силами России. В таковой же должности он может оказаться и в ближайшее время. В данный момент я отправляюсь к нему на аудиенцию, а вас прошу сохранять стойку «смирно», а как только мы с генералом появимся в окне, немедля отдать честь и здравицу. Командовать назначаю...

Все напряглись.

— Юнкер Гагарин.

— Слушаюсь!

Вопрос о пуле в лоб отпал. Застрелиться, командуя отрядом, стыдно.

Ровный отправился на аудиенцию. Юнкера застыли в ожидании. Трехэтажный дом, построенный в стиле модерн, с любопытством взирал на них своими крупными окнами. Квартиры в нем располагались соответственно на трех этажах. Нижний занимала семья какого-то промышленника. Средний этаж — семейство Голубевых и квартира самого хозяина дома. Брусилов жил на третьем этаже, украшенном просторным балконным гульбищем и двумя башнями, круглой и треугольной. В этот балкон и в эти башни жадно нацелились глаза юнкеров.

Вдруг Гагарин почувствовал уже знакомый удар в сердце, как отдачу при выстреле из ружья. В широком окне на втором этаже отодвинулась штора и показалась она. Людмила. Почему не в институте? Больна?.. Или... да нет, невероятно... не могла же она его ждать!..

Она смотрела и улыбалась ему. В сей миг Гагарину было хоть в пропасть шагнуть. Мысль совершить страшный, дерзкий поступок мигом вспыхнула в его несчастной голове.

— Господа юнкера! — скомандовал он. — Отдать честь!

И спасением стало лишь то, что именно в сей дерзкий миг распахнулась дверь балкона и на третьем этаже появилась маленькая сухонькая фигурка генерала, а следом за ней фигура поручика Ровного. Юнкера отдали честь.

— Здорово, ребята! — сказал с балкона генерал.

Юнкера мощно вдохнули и рывкнули на весь переулок, да так, что прокатилось и по Остоженке, и по Пречистенке:

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

Людмила засмеялась в своем окне и весело замахала рукой, вся вытягиваясь вверх, показывая, как она стройна, какая у нее тонкая талия и развитая грудь. И юнкера невольно засмеялись в ответ, а Гагарин сорвал с головы фуражку и поднял ее за козырек на вытянутой руке.

* * *

— О, зверей привел? — спросил Брусилов, любуясь крупными могучими юнкерами второй роты Александровского училища. В эту роту испокон веку брали богатырей, которых за мощь и крепость издавна повелось звать зверями. Для аудиенции к генералу-герою были отобраны самые могучие. На одного Витю Немаленького посмотреть — оторопь берет. Фамилия его на самом деле была Крылов, а Немаленьким его прозвали на втором курсе училища. В кадетах Витя был как раз самым маленьким и прозвище имел «Витя Маленький». В училище его взяли в четвертую роту, но после летних лагерей он так вымахал, что его перевели в звериную, а прозвище поменяли в соответствии с новой действительностью.

— А этот-то чего фуражку вытянул? — спросил Брусилов про Гагарина.

— От восторга голову потерял, должно быть, — поморщился Ровный. — Вот я ему задам, сукину сыну!

— И поделом. Вернемся в комнаты, у меня горло простужено.

В кабинете прислуга уже накрыла чай, к которому были поданы калачи, сыр, масло и мясной паштет. Ровный не спешил притрагиваться к угощению. А вот четыре борзые собаки с беспокойством принохивались и возмущенно ходили в отдалении вокруг кабинета, недоумевая, почему люди не кинутся и не проглотят разом все это пахучее великолепие. Что за нерасторопные создания, эти одетые двуногие! Из уголков собачьих ртов потянулись сосульки слюней.

— Алексей Алексеевич, положение, как вы сами знаете, критическое. В ближайшие дни большевики осуществят нависшее — попытаются захватить власть в Петрограде и Москве. Причем, путем вооруженного восстания. Они сильны, как никогда. Если летом мы могли говорить, что можно обойтись без военного диктатора, то сейчас необходимость в таковом назрела. Вы — главный герой Второй Отечественной войны. Знаю, как вы ненавидите высокопарные сравнения, но иного Пожарского у нас сейчас нет. Это вы. В штабе мне поручено спросить вас прямо, готовы ли вы стать военным диктатором в случае, если большевики решатся на государственный переворот.

— Большевики... — тихо отозвался Брусилов. — Пейте чай, поручик, закусывайте. Чаек, а ргорос*, жемчужного сорта. М-да, большевики... Представьте себе большую, крепкую семью. Отец и мать воспитывают детей в строгости, готовят их к будущей суровой жизни. А рядом сосед. Хитрый, пронырливый. Но детей у него нет, и он начинает переманивать к себе этих. Говорит им: «Я не буду заставлять вас готовить уроки, зубрить иностранные языки, напрягать мозги над алгеброй и геометрией. Вы будете только гулять, развлекаться, шалить. За шалости, кстати, тоже не буду наказывать». И переманивает. Только не сообщает им, что в будущем они не поступят в университеты и в хорошие училища, а станут батраками у чужого дяди. Точно так же большевики. В это лето, когда я стал главнокомандующим, наша армия была сильна, как никогда. У нас исчезла нехватка в боеприпасах, полки были укомплектованы, мы во всем достигли перевеса над врагом. Произошла революция, очистившая военное

* Между прочим (*франц.*).

руководство от огромной массы лишних людей из числа придворной швали. После победоносного шестнадцатого нас ждал еще более победоносный семнадцатый.

— Да, я помню, как вы твердо заявили, что война в сущности уже выиграна нами, что семнадцатый будет годом великой победы. Читал в газетах,— сказал Ровный.

— Да, заявлял,— вздохнул Брусилов.— И не отрекаюсь. Победа была у нас в кармане. Причем, в нагрудном. Если бы не большевики. «Пока вы тут воюете понапрасну, ваши братья делят доставшуюся им землю и помещичье барахло. Не будьте дураками, штык в землю и по домам!» Нас победило не германское оружие, а большевистские говорилки, против которых наши офицеры воевать оказались необучены. Я ненавижу большевиков всей душой. Они отняли у нас победу. Мою победу!

Он гневно простонал, и Ровный приободрился:

— Стало быть, вы готовы ответить положительно?

Лицо Брусилова сморщилось, будто у него внезапно заболел живот.

— Нет,— ответил он тихо.

— Но почему? Алексей Алексеевич!

— Это не мое открытие, но генералы для войны против внешнего врага совершенные олухи при войне с врагом внутренним.

— А Суворов против Пугачева?

— А что Суворов? К Пугачеву он пришел к шапочному разбору. Только и дел, что вез его в клетке. Да и была ли та клетка?..

— Поляков громил.

— Какие же поляки внутренние! Помилуйте!

— Славяне же...

— И не славяне они вовсе. У них даже спасибо из немецкого взято. «Дзенькуе» это ведь то же, что «данке». Только и в немцы их никто не возьмет... Ладно, Бог с ними! Вы совсем не едите ничего. Паштет свежайший. А военным диктатором мне не быть. Не смогу. К тому же, если я не симпатизирую большевикам, то Керенскому еще больше не радуюсь. Одни гады пожирают других. Сейчас людям, которые в будущем будут нужны России, лучше спрятаться под землю и затаиться до времени. Выждать, пока революция пережрет своих детей.

— Вот так стратегия!

— Увы. Поймите, голубчик, в братской войне героев не бывает. Невского, Донского, Пожарского мы помним. А скажите, кто сейчас помнит героев, отличившихся в княжеских междоусобицах?

— Стало быть, штабу ваш ответ — нет?

— Именно.

— В таком случае, мне поручено все равно выразить вам глубочайшее уважение и оставить у вас юнкерский пикет.

— Из этих милых зверушек?

— В ближайшие дни в Москве будет жарко. Велика вероятность, что головорезы из большевистской банды захотят крови лучшего русского генерала.

— Не исключено. У моей жены с юности была хорошая подруга еврейка. Удивительная труженица, умная, хорошая женщина. Вдобавок, искренняя русская патриотка. Недавно она скончалась от неизлечимой болезни. Жена была при ней до последнего часа, и, умирая, эта Айзикович по большому секрету сообщила Надежде Владимировне, что в среде ее соплеменников выделились негодяи — националисты, которые хотят власти и затевают полное уничтожение верхушки русского народа. «Бегите за границу и как можно быстрее!» — заклинала она.— «Вас убьют первыми!»

— Так может быть...

— Никаких. Драпать не намерен. Лечь, так в родную. А насчет юнкеров — согласен. Оставьте сколько не жалко. Квартира у меня вон какая. Хоть все отделение

могу приютить. И целее будут, чем на улицах. Четверых можете оставить? Я с ними и занятия могу провести какие там по программе. Плохо ли? Того, который фуражку тянул.

— Кстати, однофамилец вашего адъютанта.

— Родственник?

— Спросите у него.

* * *

В Людмиле явно произошла перемена. Она долго стояла у окна, с улыбкой разглядывая юнкеров, махала ручкой, говорила что-то Гагарину, широко артикулируя, и он догадался: «При-ха-ди-те!» Потом она скрылась, вновь появилась в окне и помахала ему листком бумаги. Затем опять исчезла, теперь уже надолго.

— Пишет, — сказал Печкин.

— Счастливчик этот Гагарин! — восхитился юнкер Бахтияров. — Хороша девка!

— Кокетлива, — возразил Щеглин.

— Разговоры! — осек Гагарин.

Вскоре Людмила вновь появилась в окне, помахала Гагарину сложенным листком. Рядом с ней возникла Ирина Дмитриевна и отогнала дочь от окна, явно выговаривая ей, что ее поведение не скромно. Через некоторое время появился слуга Голубевых, Юлий Прокофьевич, принес письмо в заклеенном конверте. Гагарин строго поблагодарил его и сунул письмо в карман шинели, хотя рука горела распечатать.

— Гага, прочти! — загоготали юнкера.

— Молчать! — рявкнул Гагарин.

— Хоть погреемся от чужого счастья! — воскликнул Печкин.

— Сегодня Всем Скорбящим Радость, — произнес юнкер Сизов, изо всех них чуть ли не единственный богомолец.

— «Сегодня вечером увижусь я с тобою», — процитировал Щеглин.

— «Сегодня вечером решится жребий мой», — продолжил денис-давыдовскую цитату юнкер Ламанский.

— «Сегодня получу желаемое мною», — продолжил Петров-третий.

— «Иль абшид на покой», — закончил Щеглин.

В дверях появился поручик Ровный.

— Смирно! — скомандовал Гагарин.

— Вольно! — бросил Ровный. — Господа юнкера, четверым из вас будет поручено охранять дом, в котором проживает герой войны генерал Брусилов. Задание ответственное. Временно эти четверо освобождаются от занятий в училище, но генерал обещал позаниматься. Постовое дежурство вести посменно, по двое.

И письмо, и это!.. Не может быть столько везенья! Столько радости всем скорбящим. Хотя, собственно, почему он решил, что именно его оставят?.. Гагарин напрягся в ожидании.

— Почетную обязанность нести охрану генерала Брусилова поручается юнкерам Ламанскому, Бахтиярову, Сизову и...

«Неужели не мне?!»

— ...Гагарину. Эх, и попадет же за фуражку! Генерал весьма сердится. Означенным четверым отправляться в дом. Остальные нале-во! Шагом марш!



Игорь Карлов

(г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт)



ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ПОВЕСТЬ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕЗИДЕНТА СССР ГОРБАЧЕВА М. С.*

Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова. Заведующий отделом международных связей журнала «Приокские зори». Наш постоянный автор.

Рогов испытывал непреодолимую гадливость от малейшего соприкосновения с подростками и потому свел общение с ними к минимуму. Он входил в класс, проверял явку, с брезгливым выражением лица выговаривая фамилии, внесенные в журнал группы, затем открывал свою тетрадку или даже учебник и бубнил что-то до звонка. При этом мастер не интересовался тем, что все это время делали его ученики; они же, улегшись грудью на столы, крутя патлатыми головами, развлекали себя, как умели. Одни потихоньку переговаривались, другие перебрасывались записочками, третьи, похоже, играли в карты... Они старались слишком не шуметь: их тоже все устраивало... Если бы кто-то подошел к двери учебной аудитории, когда там проходил урок Рогова, то услышал бы нечто странное: равномерный фоновый гул, похожий на гул пчелиного роя, покрывался монотонным сольным гудением. Словно ленивый пономарь нехотя читает давно надоевшие Четвы Миней среди растревоженных ульев.

Иногда молодым шалопаям наскучивало пребывать в своем наполненном подростковыми комплексами мирке, и они очередной гнусной выходкой обращали на себя внимание мастера. Рогову же противно было даже ругать их; он при малейшей возможности с мстительной радостью выводил в журнале «двойки» обнаглевшим юнцам да одну за другой строчил докладные записки начальству, что окончательно отдалило его от обучающихся.

Надежды на воспитание юной смены рухнули. «Поздно, поздно! — говорил себе Рогов. — В ПТУ уже поздно. Уже короста контрреволюции покрыла души нашей молодежи! Но когда же это начнется? С самого что ли детства?!» И неприятная, жуткая мысль закрадывалась в голову: неужели бытие по самой природе своей контрреволюционно? Неужели революция не имеет продолжения, а обречена оставаться единичным фактом истории? Неужели учение Ленина нельзя приспособить к современности? Неужели это учение не есть наивысшая ступень человеческой мысли? Ленинизм не вечен?! Он устаревает?..

Упрямец Рогов не привык отступать; он намеревался все выяснить досконально, докопаться до корней. Возможно, и впрямь первопричина разложения советского общества лежит в плохой работе пионерской организации? Рогов пошел в подшефную школу, хотел пообщаться с детьми, чтобы выявить уровень их политграмоты. Но

* Главы из повести.

старшая вожатая с каким-то испуганным лицом категорически отказала в такой неформальной встрече, уверяя, что сейчас не время, сейчас идет месячник военно-патриотической работы, а вот в апреле, когда будет месячник профориентации, тогда товарищ со стройки и сможет выступить.

— Да я не по профориентации. Я по вопросам марксизма-ленинизма хочу поговорить!

— Но вы же из строительной организации! — удивилась вожатая.

— Но я же коммунист! — ответил Рогов.

— А коммунистическое воспитание у нас ежедневно проходит, — чутко вскинулась вожатая.

— Ну и как? Много коммунистов воспитали? — с издевкой спросил Рогов.

— У нас дети все знают! — вожатая не замечала Роговского сарказма. — Символы, атрибуты, законы пионеров Советского Союза.

— Деточка моя! — с горечью многоопытного человека воскликнул Рогов. — Можно все знать, а коммунистом не быть!

— Я не понимаю... Советская система образования лучшая в мире! — на всякий случай отрапортовала вожатая. — У вас вообще направление есть какое-нибудь? Вы имеете право с детьми работать? У вас какое образование?

Рогов махнул рукой и вышел: «Окопались. Везде окопались. Обычный гражданин Страны Советов не может встретиться с подрастающим поколением, выяснить, кого растят ему на смену — обязательно какое-то разрешение нужно. А вот так, по отечески, без формализма? Это же лучше всего... «Какое у вас образование?» Как будто от наличия диплома зависит сознательность и готовность бороться до конца... Начетчики! Выхолащивают живое ленинское учение. С пионерского возраста готовят приспособленцев и чинуш».

Рогову казалось, что знамя ленинизма вот-вот выпадет из его усталых рук, и требовалось полностью мобилизовать волю, чтобы убедить себя не сдаваться. К тому же привычные идеологические инъекции действовали с каждым разом все слабее и слабее. Ни радиоспектакли, ни фильмы революционной тематики, ни стихи советских поэтов, ни песни на их стихи, ни даже пластинки с голосом Ильича уже не вызывали прежних приливов сил и оптимизма. Жизнь проходила без подвига, без красноречивых рейдов по тылам неприятеля, но в неизбежной тоске по ним.

Дальнейшее существование Рогова в течение нескольких лет было исполнено глубокого драматизма. Один за другим умирали Генеральные секретари ЦК КПСС, и Рогов с воодушевлением встречал каждое новое назначение на высший пост в стране. Каждый раз верилось, что вот этот-то человек и продолжит революцию, начнет обновление, призовет «сотню юных бойцов», отправит на разведку в поля... Нет. Все надежды раз за разом обращались в пепел несбыточности. По-прежнему всюду царили примазавшиеся к партии и безразличные к делу рабочего класса бюрократы.

И только с началом «перестройки» полное и близкое теперь уже обновление предстало почти осязаемой реальностью. Словно бальзам на душу лились произносимые с высоких трибун слова о возвращении к истинному ленинизму. Как музыка звучал ставший необыкновенно популярным девиз: «Иного не дано!» Эхом боевого клича красных конников времен гражданской войны, эхом легендарного «Даешь!» отзывалось нынешнее «Иного не дано!» И не хотелось разбираться, кому и почему не дано, отчего это все «иное» с ходу отменяется... Ясно было одно: достали, сил больше нет, пора все менять! Рогов сделался горячим сторонником Горбачева, готовился горы свернуть под руководством велеречивого генсека.

Но со временем Рогов все чаще стал задавать себе вопрос: а не творится ли под прикрытием фраз о развитии революционного потенциала масс черное дело отката от

завоеваний Октября? Непредвзятый взгляд на социальные и экономические реалии мог вызвать у верного ленинца лишь недоумение: в стране победившего социализма множился класс частных собственников, мелких хозяйчиков, наживавшихся за счет трудящихся; появился даже коммунист-миллионер, а партия, осуществлявшая некогда политику военного коммунизма, получала от него в качестве членских взносов какие-то совершенно неприличные суммы... Рогов никак не мог взять в толк: «И это у нас? В государстве рабочих и крестьян? Бред какой! Ведь следующий шаг — эксплуатация человека человеком! Это же посягательство на основы! Что они там, наверху, не понимают?!» И осекся партиец-энтузиаст, пораженный догадкой, что все они там, наверху, понимают... Сознательно подрывают устои.

Интуитивное предположение о засилье в партаппарате многочисленных диверсантов и саботажников подтверждалось все множившимися фактами. Вот, например, в газетах, в журналах среди верных, идеологически выдержанных материалов замелькали оппортунистические статейки. «Зачем же это печатают?! Не понимают, что ли?» — возмущался Рогов. И вновь отвечал себе: не могут не понимать. И вновь убеждался: сознательно вредят.

Наконец, разнузданная пропаганда чуждой идеологии дала всходы в толще народной массы. Однажды во время ноябрьской манифестации Рогов с ужасом увидел над толпой кроме красных флагов полотнища других цветов, а на длинном древке вместо портрета вождя крест с изображенным на нем раскинувшим руки человеком. Рогова просто передернуло: «Все! Дошли до точки. Поповская проповедь у нас теперь на демонстрациях осуществляется!» Бессильная злоба буграми перекатывалась по скулам.

Для Рогова празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и Дня международной солидарности трудящихся всегда оставалось делом святым. По-настоящему святым, как святы были языческие радения для первобытных племен. Торжественно-нездешними казались сами названия праздников. Рогов любил тихонько вслух произносить их, четко артикулируя: «годовщина Великой Октябрьской социалистической революции»; «День международной солидарности трудящихся». По сравнению с этими словами, звучавшими гулко и мерно, как бубен шамана, по сравнению с безмерностью стоящих за словами понятий отдельная человеческая личность представлялась ничтожной. Но и нужна была эта маленькая личность, ибо из капель состоит революционная Ниагара, а человеческие ручейки сливаются в реки демонстраций.

В какой-то книге Рогов прочел интересную метафору: 1 Мая — это рабочая Пасха. Да и для Седьмого ноября подошла бы такая аналогия. Нельзя сказать, чтобы Рогов разбирался в толкованиях религиозных обрядов или праздников, однако классовое чутье подсказывало, что суть христианства правильная, революционная, а посему идеология Каприйской школы не показалась бы ему абсолютно неприемлемой. Практику богостроительства, конечно, следовало осудить как ошибку, интенции же рабочего движения и клерикализма, безусловно, сходны. И вот если церковники ежегодно имитируют Воскрешение Христа, то коммунисты дважды в год оживляют свою святую ночь — ночь с 24 на 25 октября 1917 года, когда умер старый мир, а взамен ему возник мир обновленный, от начала веков чаемый, тайно существовавший, как бы дремавший в сердцах всех прогрессивных людей, но дотоле не являвшийся человечеству во всем своем трагическом великолепии.

Тогда, непроглядной осенней ночью семнадцатого года, мятежная народная стихия, организованная и возглавленная Лениным, направила неукротимую силу свою против всего, что тормозило прогресс, душило свободу и попирало принципы гуманизма. Из отдаленных концов темного Петрограда, словно вышедшая из берегов ре-

ка, стеклись к центру толпы одетых в солдатские шинели рабочих и крестьян, революционных матросов, красногвардейцев и захватили Зимний дворец. А ныне при ярком свете дня во всех городах великого Советского Союза под теми же знаменами собираются внуки и правнуки бравших Зимний, разыгрывается вновь и вновь та же историческая мистерия, символически повторяются те же эпохальные события, удостоверяя неугасимую память о славном прошлом. Когда мы маршируем стройными рядами, кажется, что предки наши обрели бессмертие. Они идут рядом с нами в праздничных колоннах, безмолвно подтверждая: все было именно так! Вот так же собирались они в условленных местах, вот так же реяли над ними красные стяги и революционные лозунги, вот так же неостановимо двигались они навстречу светлому будущему, приветствуя своих вождей.

Но помимо инсценировки главного события в истории человечества, помимо подтверждения верности традициям, регулярные советские демонстрации получали и другое значение. Людские массы, изливавшиеся мимо праздничных трибун, с заранее оговоренной регулярностью ритуально выражали покорность власти. В другие дни можно было расстегнуть верхнюю пуговку идеологического мундира, покурить и расслабиться, но 1 Мая и 7 Ноября, во время генерального смотра, народ, словно старый солдат перед командиром, привычно становился навтыяжку перед правительством. Струясь ликующей водицей у подножия трибун, стелясь пестрой травкой перед лицами руководителей, народ выказывал им безусловную поддержку, подтверждал их право действовать от имени всей страны. Люди, бодро шествовавшие в колоннах демонстрантов, удостоверяли бессрочный велемощный мандат своих вождей; и никто не собирался требовать никакого отчета, так как все были убеждены: жизнь во-круг хороша, а станет еще лучше. При условии сохранения властью за собой обязанности по поддержанию материального существования народа, неоспоримое право принимать глобальные решения и предпринимать исключительно важные шаги оставалось за ней.

Рогову иногда представлялось, что демонстрация — это коррида. Темная, необузданная, как громадина-бык, толпа двигалась мимо трибун, а с трибун вонзались в толпу шпаги и бандерильи начальственных взглядов. И толпа подчиняется этим невидимым, но ощущаемо колючим сверкающим клинкам, сомнамбулически следует за взмахами красного флага, делает то, чего добивается от нее пикадор.

Но и это было не все. Обрядовым выражением преданности властям предрежающим смысл советских манифестаций тоже не исчерпывался. Помимо прочего, они помогали массе ощутить свою непобедимую силу. Задолго до начала демонстрации приходили на пункты сбора сонные, расслабленные мужчины и женщины, занимали определенные заранее места, переминались в ожидании назначенного часа. Но когда не совсем еще стройные ряды начинали набирать ход, происходило преобразование этих людей. Личность в парадной колонне уже не существовала сама по себе, она превращалась в фотон единого потока энергии. В результате спорадических соприкосновений, в результате хаотического трения друг о друга человеческие элементарные частицы обретали небывалую мощь и направленность движения, под сильным давлением из разгонных трубок города-ускорителя — проспектов и улиц — вливались в резервуары площадей и бешеной энергией затопляли страну. Наэлектризованные толпы освещали шестую часть планеты разливами коллективной радости, от которой каждая индивидуализированная корпускула праздничного протуберанца ощущала себя счастливой и потому еще активнее генерировала всеобщий душевный подъем. Так осуществлялась цепная реакция совместного ликования.

От поступи облученных восторгом демонстрантов сотрясалась земля, покачивались здания. Вливаясь в эту светлую стихию, Рогов всегда ощущал, как изменяются

его физические параметры: как увеличивается плотность, как растет масса. Под его башмаками проминался асфальт, съезжался Земной шар, а от этого ближе, роднее становились и идущие рядом, и шагающие в колоннах по всему Советскому Союзу, и даже шествующие в шеренгах на других континентах. Хотелось верить, что и на далеких планетах играют сейчас праздничные оркестры, а где-нибудь на Марсе колыхаются транспаранты и флаги в щупальцах марширующих зелененьких раскоряк...

И еще, и еще, и еще... Сколько же смыслов крылось за всем привычными, а кое-кому даже надоевшими советскими демонстрациями! Излучение галактической энергии тоже не закрывало список возможных расширенных толкований этого действия. Ведь и древнегреческие дионисии, и триумфы римских легионов, и крестные ходы, и бразильские карнавалы, и шествия луддитов, и парады санкюлотов,— все это только предвестия современных манифестаций, постепенное приближение к ним. А такое проявление поступательности исторического прогресса (пусть и на примере не самом значительном) наглядно доказывает, что социализм является высшей стадией развития цивилизации (и значит, Маркс был прав, и значит, коммунизм неизбежен).

Итак, шагая вместе со всеми в украшенной воздушными шарами, флажками и огромными матерчатыми гвоздиками колонне, Рогов ощущал, что находится в гармонии со всем, что ни есть на свете, со всем, что когда-либо существовало или только еще станет сущим.

И лишь некоторые досадные мелочи неприятно диссонировали с праздничным настроением и отчасти омрачали радость причастности к общему движению. Во-первых, явка на мероприятие всегда была проблемой: и в строительном-монтажном управлении, где Рогов прежде трудился, и в коллективе ПТУ, членом которого он стал теперь, многие старались увильнуть от участия в демонстрации, отпроситься под каким-нибудь предлогом, а то и без всякой причины не придти в назначенное место. Во-вторых, большинство мужиков (да и кое-кто из женщин), несмотря на угрозы, прямые запреты и грозные предостережения, в обязательном порядке употребляли спиртное, ссылаясь на необходимость согреться в прохладный утренний час. В-третьих, после прохождения мимо трибуны с руководителями, когда спадало напряжение единодушия, когда из толпы словно вынимали державший ее стержень и она рассыпалась вновь на отдельные человеческие атомы, то здесь, то там по пути следования расходящихся демонстрантов можно было видеть как бы случайно оставленные в спешке портреты на длинных древках, свернутые транспаранты и даже знамена. Люди легкомысленно бросали этот выданный им во временное пользование реквизит, чтобы не нести его обратно к специально выделенному грузовику, который затем свозил всю атрибутику на склад предприятия до следующего раза, а направиться сразу домой в чайнии праздничной трапезы и обильных возлияний.

А вот Рогов всегда подбирал брошенные революционные хоругви, чувствуя себя при этом древнерусским князем, после страшной сечи обходящим поле битвы и безмолвно беседующим с павшими. С трепетом собирал он реликвии славной, но тяжелой победы, будто бы изроненные остывающими руками ратников, и бережно относил все свои находки дежурившему возле служебной машины завхозу, падкому на чужое добро. Завхоз, воплощение всех пороков своей касты, касты известных скопидомов, каждый раз бурно славословил добытчика-Рогова, а тот удалялся грустный, поникший. Он отказывался понять недисциплинированных манифестантов, не принимал поведения соотечественников, способных ради минутного плотского удовольствия опозлить то великое чувство, которое праздничные торжества рождали в пламенном большевистском сердце. Рогова и угнетали, и бесили проявления человеческих слабостей, опять испортившие ему красный день календаря...

Но потом настали времена еще хуже. Однажды, уже в эпоху «гласности», Рогов

стал свидетелем какой-то фантомной, выморочной демонстрации, которую и представить-то себе было невозможно, но которая имела место в реальности. Дело было летом. Не Первого мая, не Седьмого ноября. Праздника не было, а демонстрация была. Сперва Рогов даже посчитал, что заблудился во времени. Он направлялся куда-то по своим делам, в очередной раз обдумывая всю сложность политического момента, неторопливо брел, чуть потупив отягощенную думами голову, по извилистым переулкам старой части города. И на дальнем конце одного из них Рогов боковым зрением уловил (скорее почувал, чем увидел) движение некой темной массы. Вздрыгнув от нехорошего предчувствия, он разглядел в перспективе переулка взмахи флагов и транспарантов, мельтешение силуэтов людей, выходявших колонной на главную площадь. Несколько мгновений Рогов стоял, не двигаясь с места, словно боксер на ринге, оказавшийся в состоянии грогги.

«А почему мне не сказали? Почему я не участвую?» — потерянно думал Рогов, невольно ускоряя шаги в направлении площади. Неприятно холодело и сосало под ложечкой: как же так? он шел по частным, мелочным делишкам, а в это же самое время был приведен в действие государственный механизм выброса революционной энергии? Внеочередной заряд коллективизма уже забит в ствол улицы, уже взведены курки, уже готова выстрелить в космос картечь энтузиазма, чтобы силой отдачи разогнать нашу остывающую планету, подхлестнуть ее медлительный лет к светлому будущему. И все это без него? Забыли! Бросили! Рогов почти уже бежал по узкому переулку, образованному невысокими обветшалыми домами.

«Что-то пошло не так!» — эта мысль учащенным пульсом билась в висок. А почему не видно воздушных шариков над колонной? Почему не разносится из репродукторов праздничная музыка? Что-то пошло не так! Все разъяснилось, лишь когда дома расступились и картина происходящего стала видна полностью. Рогов замер на месте. Не тысячи бодрых трудящихся вступали на площадь — несколько сотен волосато-бородатых испитых интеллигентов. Не красные флаги реяли над демонстрантами — какие-то сине-розовые вымпелы. Не аккуратно набитые трафаретным способом белой краской по кумачу транспаранты несли они, а лозунги, наспех, небрежно намалеванные черным на простынных полотнищах. Рогов невольно попятился назад в переулок: на его глазах, на глазах множества горожан проходила демонстрация диссидентов.

Диссидент... Само слово было неприятное, а уж понятие за ним крылось и вовсе страшное. Диссидент — тот, кто заносчиво противопоставляет себя коллективу, тот, кто считает себя умнее других, да не только каждого по отдельности, но и всех вместе, объединенных в непогрешимую партию. Диссидент — тот, кто не принимает не только нашу идеологию, но и нашу мораль, ведет себя распущено и безнравственно. Диссидент — тот, кто слушает ночами вражеские радиоголоса, радуясь неудачам своей Родины, готовясь при первой возможности вонзить нож в спину родной стране... Рогов, как и большинство советских граждан, знал, конечно, что существует у нас это постыдное явление, как существуют где-то наркоманы, валютчики, гомосексуалисты, проститутки, но вблизи такого позора никогда не видел.

А тут неожиданно много оказалось этих самых инакомыслящих, готовых выставить свою инакость напоказ, идущих на виду у всех нагло и, кажется, нарочно не в ногу! Потрепанные лица людей, исстрадавшихся от бесплодности нескончаемых разговоров о собственной значимости для истории, горели сейчас горячечной отвагой и сознанием непреложности своей правоты. Длинноногие демонстранты в джинсах двигались быстро, почти бежали, видимо, до конца не веря в то, что их дерзкие мечтания, как табачный дым клубившиеся на тесных кухоньках во время диссидентских сходок, стали реальностью, что под теми безобразными лозунгами, которые они не-

сли, им все-таки удастся беспрепятственно пересечь намоленную правоверными шествиями площадь и безнаказанно разойтись. А возмутительнее всего было то, что, чуть отстав от толпы отщепенцев, их жиденькую колонну, словно почетный эскорт, сопровождала патрульная милицейская машина, так и не въехавшая на площадь, но простоявшая до конца митинга. И милиционеры, наши советские милиционеры, не только не задерживали крамольников, напротив, создавали им все условия для беспрепятственного проведения бесстыдной акции.

«Все. Доигрались в демократию! — размышлял Рогов.— Враги социализма, не таясь, идут по нашей советской земле. Почему разрешили? Как допустили?! Всюду предательство! КГБ бездействует. Партийные идеологи безмолвствуют. Вот тебе: «Иного не дано». Конец революции!»

По городу тем летом поползли вовсе невероятные слухи о строительно-монтажном управлении, где когда-то трудился Рогов. Мол, там-то и засели главные СМУтьяны, решили сами выбирать себе начальников. Рогов навел справки и убедился: стройка, действительно, бурлила. Да! выбирать будем бригадиров, прорабов,— всех снизу доверху... Кого захотим, того и поставим! Мы и только мы хозяева своей страны и, значит, своей стройплощадки! Мы и только мы знаем, как надо работать и как руководить работой! Рогов пожалел было о том, что трудоустроился на новом месте, хотел даже вернуться обратно, ведь сейчас его лучшие качества оченьгодились бы товарищам. Но когда узнал, что Колобанова чуть не выбрали какой-то там шишкой...

К тому же игры с выборами на производстве скоро прекратились. Да и вообще время игр проходило. В головах номенклатурных деятелей, временно растерявшихся от пестроты перестроечных явлений, что-то провернулось: «Кого выбирать? Нас? На альтернативной основе? Начальство себе выбирать вздумали? Вы довыбираетесь, лодыри и тупари! Вы такого наворотите!.. Ну вас к хренам с вашей революционной ситуацией, когда низы, якобы, не хотят жить по-старому, а верхи не могут руководить! Мы — можем! Мы прищучим эти вшивые низы карточной системой, мы дефицит доведем до размеров всеохватности, мы ограбим вас денежной реформой, и тогда забудете про демократические игрища, а будете думать лишь о том, чтобы набить себе брюхо, чтобы хоть крошку малую закинуть в клюв орущих ваших птенцов».

И, конечно, революционная романтика на таком фоне сразу потускнела, порыв к «ленинским нормам» иссяк, мечты о «правовом государстве» и «социальной справедливости» развеялись. Призрак социализма с человеческим лицом замедлил свою поступь при виде другого призрака — призрака нищеты и голода. Затем социалистический фантом стал нерешительно топтаться на месте, а вскоре совсем растаял, как и положено любому привидению. Придавленные к земле ежедневной борьбой за существование люди понуро опустили крылья, а чуть погода за ненадобностью безвозвратно отбросила их, как отбрасывает природа гомо сапиенс любой обременительный рудимент... Или, может быть, в глубине человеческого духа все же обретается постоянное желание возвысить жизнь над существованием, подобно тому, как в глубине организма до сих пор сидят непонятно для чего копчик и аппендикс?..

Да-да... Возвысить жизнь над существованием... Однажды (было это, кажется, в марте) Рогов, бесцельно разглядывая из своего окна, выходящего на задворки, сырую сумеречную улицу, заметил у мусорных баков оборванного какого-то старика. Сначала невозможно было разобрать: чего он там копается? А потом дошло: дед выбирает из помойки что-нибудь годное для поддержания жизнедеятельности. Рогов впервые видел такое, и потому долго не верил своим глазам. Над страной по-прежнему развеялся алый стяг с серпом и молотом, а бездомный нищий уже рылся в чужих отходах. Рогова чуть не стошнило, когда он прочувствовал всю отвратительную несуразность этой непоправимой драмы.

Тоска, тоска и тоска! Мартовская грязно-слякотная тоска колыхалась в душе, грозила излиться наружу: «Твою мать... Вот же он, оскал капитализма... Первое, что к нам попало с Запада — не сверкающие всеми огнями витрины, которыми так соблазняют рыночники, а копающийся в мусорке старик. То, что так осуждали, глядя на размещенные в газетах фотографии зарубежных корреспондентов, то, чему так дружно ужасались, уверенные, что вот уж этого-то у нас не будет никогда, вот оно — под твоим окном. Полюбуйся на достижения советского строя!»

А процесс-то уже пошел, как сказал бы архитектор перестройки, пошел неостановимо, показывая свою оборотную сторону: поперли как из-под земли кооперативы, частные лавочки, сомнительные фирмы... Рогов просто поражался: «Откуда? Как и почему до сих пор живет в людях тяга к личному имуществу? Семьдесят лет вытравили частнособственнические инстинкты, а они по-прежнему не искоренены! Семьдесят лет не давали даже ростку приобретательства пробиться сквозь асфальт передовой идеологии, а вот все-таки лезет оно на белый свет! Словно спора сибирской язвы, навечно заразила людей жадность и, как ни борись с ней, начинает размножаться при первой же возможности. Стремительно плодятся смертоносные бактерии и отравляют человека, инфицируют общество! Да как же с этим справиться? Да возможно ли это победить?!»

Рогов с настойчивостью обманутого кредитора вновь и вновь шел к памятнику Ленину. Рогов с пылкостью дервиша приходил сюда за разрешением все новых и новых сомнений. Рогов с робостью нерадивого ученика приближался к пьедесталу. Рогов с надеждой усомнившегося апостола заглядывал в лицо каменноглыбному гиганту. Но гигант уже не метал, как прежде, молнии, он отводил глаза.

«Ты только не сдавайся,— твердил себе воин-одиночка.— Нельзя сдаваться, даже если все оказались предателями, даже если каменный Ленин устал; ты не уставай, ты будь надежнее камня и стали, ты оставайся несгибаемым». Но силы невосстановимо убывали, но улетучивались с каждым днем корчагинские задор и упорство, но слишком многочисленны оказались темные волны вражеских атак. Сохранялась еще надежда — на органы госбезопасности, на орден меченосцев революции, на рыцарей с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем, которые должны же очнуться и восстановить в стране железный порядок. Однако органы демонстративно бездействовали; следовательно, там тоже измена...

Рогов решил переходить на нелегальное положение. Он уже представлял себе, как будет по ночам расклеивать листовки и как однажды попадет в лапы к контрреволюционерам, которые примутся пытать его, выжгут на теле пятиконечную звезду, но Рогов, конечно, на допросах не произнесет ни слова и не назовет ни одного имени. Плевать, что нечего сказать и некого выдать! Он будет молчать из принципа.

День ото дня Рогов все более замыкался в себе. И без того редкие контакты с людьми почти прекратились: наверняка вокруг полно тайных агентов деструктивных сил, а Рогову никак нельзя выдать себя. Во что бы то ни стало он обязан сохранить и передать будущим неведомым пока соратникам горящую в его душе единственную на всю страну, на всю планету лампаду с огнем революции, так трагически одиноко трепещущим в сгущающейся тьме.

И что интересно: как только Рогов осознал всю значимость выпавшей на его долю грандиозной миссии, ему начали деятельно помогать некие высшие силы. Удивительным образом Рогов, словно по открытой книге, читал самые тайные замыслы врагов. Вот они решили прибрать к рукам прессу, и газеты одна за другой с бездумной легкостью переходили на сторону мракобесов. Вот начали действовать на производстве и в сельском хозяйстве заранее внедренные, но до времени законспирированные саботажники. В результате их диверсий начался товарный, а затем и сырье-

вой голод; вскоре стало явственно угадываться приближение голода в самом прямом, самом убийственном смысле этого слова. Рогов с вдохновением визионера прозревал дальнейшее развитие событий: контрреволюционеры спровоцируют недовольство народа, поднимут армию и установят военную диктатуру, арестуют партийно-государственную головку, после чего начнутся облавы на рядовых коммунистов.

И вот тогда, захватив всю полноту государственной власти, подчинив себе пропагандистскую машину, развязав террор против партии, супостаты каленым железом выжгут из памяти народной светлый образ Ленина, великие идеи коммунизма. Рогов даст им время успокоиться, удостовериться в окончательной победе, а потом начнет действовать. Противостоять всепоглощающей, всерастлевающей контрреволюции можно лишь длительной и кропотливой нелегальной работой. План затяжной подпольной борьбы созрел у Рогова как-то одновременно, но в мельчайших деталях.

Уже существовала принципиальная договоренность о переезде в один из отдаленных райцентров области, где требовался мастер производственного обучения в лесотехнический техникум и куда Рогов прибудет под видом простого учителя. Оттуда, из-под сени бесконечных русских лесов, начнется красное сопротивление и, возможно, партизанская война. Там, в тиши дубрав, в одинокой избушке лесника, будет создан законспирированный штаб революции. Рогов распропагандирует местных жителей, привлечет их к борьбе. Возникнет разветвленная сеть тайных боевых организаций, способных в нужный момент вновь направить ход истории в предначертанную классиками марксизма-ленинизма колею.

Однако это произойдет еще не скоро, а пока он сосредоточится на воспитательной работе. Рогов не повторит прежних ошибок: студенты и школьники оказались неспособны к восприятию революционной теории, поэтому он начнет с детского сада, с яслей! Ошибка советской системы образования заключалась в том, что малыши-дошкольники считались как бы идеологическими допризывниками, по малолетству освобожденными от серьезной и целенаправленной коммунистической закалки. Поэтому и приходили они к октябрюскому возрасту с сознанием, уже деформированным царившими в обществе нигилизмом и обывательщиной. Да и октябрят почти не подвергали никакой идеологической обработке, так... на уровне атрибутики, поверхностно. Неправильно это! Если бы сызмальства ребенок впитывал высокие истины, то, став взрослым, без всякого принуждения и даже контроля жил бы в соответствии с заповедями кодекса строителя коммунизма, более того, начал бы воспроизводить впитанное в детстве в поколениях своих детей.

Вот по какому пути следовало двигаться! А выходить на него нужно немедленно, пока еще живы в памяти молодых поколений наглядные примеры беззаветного служения благородным идеалам и самоотверженного труда во имя приближения светлого будущего всего человечества. Конечно, для принятия срочных мер общественного спасения потребовались бы дети, совсем маленькие дети (хотя бы один для начала!), которых Рогов воспитает убежденными коммунистами, которым передаст факел борьбы. Только детей у Рогова не было, и завести их в ближайшее время не представлялось возможным... Вот ведь досада: все досконально продумано, а из-за какой-то ерунды нельзя осуществить такой логичный, такой стройный замысел!

Выход неожиданно подсказала уборщица из того ПТУ, где покуда продолжал служить Рогов. «Покуда» — потому что из училища он в любом случае собирался уходить, даже если бы не нашлось место в лесотехникуме. Бывший строитель впервые ступил под своды храма производственного обучения с заведомым пиететом к преподавателям, с пиететом, равновеликим его априорной любви к детям. Но слишком скоро издерганное болью сердце коммуниста оказалось уязвлено в очередной раз: он убедился, что в педагогической среде тоже свил свое змеиное гнездо оппортунизм.

Женщины, большинство из которых оказались незамужними, интересовались исключительно вопросами взаимоотношения полов, и ничто другое в многообразном, радужном мире их не занимало. Они изводили нового члена коллектива своими неотступными взглядами: кто призывными (впрочем, без намека на страстность), кто томными (впрочем, скорее, скучающими), кто наглыми (впрочем, скорее, злыми), кто притворно скромными. Рогову иногда даже снилось, как все эти бабы скопом наваливаются на него, напирают увядающими бюстами, настойчиво подталкивая в сторону городского загса. Причем, похоже, не имело значения, кто из них будет зарегистрирован в качестве жены, но пока всем хороводом не загонят «неокольцованного» мужика в стойло законного брака, покоя ему не видать... А немногочисленные мужчины из числа преподавателей ПТУ были, напротив, необщительны, замкнуты, могли разговориться лишь после рюмочки во время совместных застолий по праздникам. Да и тогда все разговоры сводились к тому, кто и что сумел «достать» для дома, для дачи, для автомобиля...

Люди, которым доверена ключевая общественная функция — формирование сознания будущих представителей рабочего класса — запутались в сетях обывательских предрассудков и не только ни в коей мере не соответствуют своему благородному предназначению, но и органически не способны подняться на должную идейную высоту.

Коллеги вновь оказались идеологическими противниками! Рогов же своим мелочным крючкотворством и перманентным занудством снискал у сослуживцев звание склочника, постепенно сделался изгоем, как и упомянутая выше уборщица, страдавшая, по столь же безапелляционному, сколь безосновательному суждению окружающих, тихим помешательством.

Как часто кажущееся необычным поведение заставляет нас презрительно и поспешно сказать о ком-то: «Ненормальный!» Как мало у нас желающих объективно и всесторонне разобраться в том, что легче всего объявить «странностями»! Ну да, была у немолодой уже женщины привычка все время бурчать себе что-то под нос. А вдруг беседа, которую она постоянно вела сама с собой, настолько увлекательна, что ее жаль прерывать и на минуту? А вдруг уровень этого внутреннего диалога соответствует масштабу споров философов Академии? Во всяком случае, Рогов, несколько раз слышавший сделанные «технической» замечания по разным поводам, поражен был тому, насколько ее комментарии были точны и настолько исчерпывающе характеризовали участников событий.

Рогов раз от раза все внимательнее прислушивался к бормотанию уборщицы, цинично игнорируемому всеми остальными. А в тот памятный день он уловил в потоке речи полумойки созвучные своим мыслям слова. Гремя ведром и шаркая тряпкой по коридору, старуха негромко бубнила: «Дети растут, ничего не знают... Лезут на свет из транды, никому не нужны...» Случайно проходивший мимо Рогов вздрогнул и остановился. Какая-то неясная догадка мелькнула в голове. Он счел необходимым подробнее расспросить о ненужных детях, и уборщица охотно передала ему рассказ своей знакомой, вахтерши в каком-то общежитии: вот-де, одна дуреха деревенская приехала в город на заработки, да тут и понесла. Теперя скоро родит, а куда его? Не котенок, в речке не утопишь. Отца не сыщешь. Вот бы кто замуж взял, пока брюхатая, так ребяенок и думал бы, дескать, — отец; слушался бы да почитал. А так — кто ж ее возьмет? Ни она никому не нужна, ни байстрюк, слышь, никому не нужен. А только так-то не должно быть в нашем-то государстве. Кто-нибудь, слышь, должен за это дело взяться.

«Да! — осенило Рогова. — Я возьмусь. Это выход. Это для всех выход». План спасения родины и революции был экстренно скорректирован. Переселение в отда-

ленную местность не отменялось, но поедет Рогов туда уже с женой, с этой несчастной на данный момент беременной гражданкой. Когда же она разрешится от бремени и на свет появится младенец, Рогов начнет свою работу по воспитанию ребенка в духе верности заветам Ильича. А дальше все пойдет как по маслу: юный помощник, подготовленный с самого детства к борьбе за правое дело и не боящийся трудностей, а также его мать активно включатся в процесс формирования новых поколений убежденных ленинцев, чей кадровый резерв постоянно будет пополняться за счет усыновления других сирот, которые, вырастая, занимая ключевые должности на производстве, в органах управления, в армии, поотрубают головы контрреволюционной гидре и выведут страну на марксистско-ленинский курс.

Дух захватывало от открывшихся перспектив! Рогов впервые за долгое время почувствовал прилив оптимизма. Неисправимый романтик, он загорелся мыслью немедленно приступить к реализации проекта, за секунду сложившегося в голове. Азарта добавляло то, что намеченная схема казалась вполне реалистичной, даже легко воплотимой: ненужных родственникам детей в стране найдется немало, их-то Рогов и возьмет под свою опеку. Как это сделать, пока неясно, но главное сейчас — заложить хотя бы первый камень в фундамент будущего подлинно справедливого общества. Главное — не упустить младенца, о котором ему только что стало известно.

Рогов разузнал у уборщицы, в каком общежитии работает ее подруга-вахтерша, как зовут простужку на сносках, и на следующий же день отправился в гости.



Вячеслав Лямкин
(г. Бийск)

ОТПУСТИ ЕГО НА НЕБО, ДУША, ОТПУСТИ...*



Лямкин Вячеслав Михайлович, молодой прозаик, кандидат в члены Союза писателей России, лауреат православной литературной премии им. Святителя Макария, митрополита Алтайского, технический редактор журнала «Бийский Вестник».

3

Дверь открыла Рита. Держа в руках мобильник, слушала в наушниках музыку. Обняла бабушку:

— Бабуль, располагайся! — Рита взяла сумку и поставила на тумбочку в прихожей. — Есть чего вкусенького?

— Я там тебе конфеток собрала, яблочки.

— Чай поставить? Будешь?

— Попозже. Ты уже из школы?

— А? — Рита освободила одно ухо.

— Вы что уже отучились? — повторила Мария.

Рита отмахнулась:

— Нет, сегодня конференция, мы не учились! Сейчас девчонки придут. Уроки сделаем, потом на треньку поедем! Родители к семи вернутся. Давай тебе телек включу?

— Не надо, я просто посижу. Пообвыкнусь! Как там отец с мамой.

— У отца завал на работе. Проверка на проверке. У мамы отчеты. Короче, я сама по себе.

— Бедная моя девочка!

— Чего, бабуль, я бедная, наоборот — в кайф! А то сейчас немного освободятся, и начнется — учи то, учи это! А то ты их не знаешь! Все хотят, чтобы их дочь профессором стала. Репетитора наняли по английскому.

Немного поболтав с бабушкой, Рита ушла в комнату, заниматься своими делами.

Мария начала разбирать сумку.

У сына в квартире хорошо. Печку топить не надо. Рита сказала — евроремонт, а кажется — комната в музее.

Когда сын и сноха пришли с работы, сели ужинать.

Сноха Маринка приняла свекровь любезно, но без видимого энтузиазма.

— Мария Петровна, крепитесь! Не вы первая, не вы последняя!

— В доме воду слили? — спросил сын.

— Слила. Ведрами потихонечку вытаскала! — ответила Мария, разглядывая морщинки на лице сына.

* Главы из повести.

Заметила на висках седые волосы, в точности как у отца. Повзрослел Коля.

— Про памятник не узнавала?

— В КБО заходила. Стоят и по десять тысяч, и по двадцать. К весне закажем, ко дню рожденья. И земля успеет осесть.

— Можно здесь взять. В выходные съездим, дом проверю. Вещи теплые забрать, телевизор со стиралкой...

— Ты помнишь, папа просил на даче помочь забор ему поправить! — вставила Маринка. В голосе снохи прозвучала претензия.— Уже вторую неделю ждет...

Мария поспешила ее поддержать:

— Сынок, да мне не к спеху. Лучше съезди, помоги свату. У меня плащ теплый, на первое время хватит. Успеем еще!

Марии хотели постелить в комнате, где спали сын со снохой, но она запротивилась, изъявив желание лечь в зале на диване.

— Что я вас буду стеснять!

Мягкий уголок был немного жестковатым для ее костей, и она долго не могла к нему привыкнуть.

Взяла на себя готовку. К приходу домочадцев обед или ужин старалась подать горячим. Маринке не угодишь. Та еще фифа — то ей салат крупно порезан, то котлеты ей кажутся не прожаренными. И во всем так. К машинке стиральной лучше не подходить: автомат какой-то. Позже Маринка стала часто говорить:

— Мама, ничего не готовьте, не надо. Я приду с работы, заранее закажу пиццу, роллы и суши! Сразу с доставкой домой! Вам обязательно понравится!.. Ритка обожает.

Или еще хуже — придет с работы, принесет с собой шаверму какую-то. «Тьфу, гадость!» — отплеывалась Мария.

Мария первое время обижалась на сноху, а потом успокоилась. Пусть живут, как хотят.

Николай старался не спорить с женой. Маринка им правила, и он лишний раз молчал, зная строптивый характер супруги.

Да и Мария чувствовала, что оказалась обузой. Забот на работе сыну хватало, оттого и матери времени уделял мало. «Жизнь такая — не мы такие», — повторяла Мария. Все бегом, бегом в погоне за копеечкой. И оглянуться некогда. Боязно. Вдруг потеряешь возможность заработать. Все это она понимала. Да еще Маринка начала заводиться по пустякам. Начали ссориться с Николаем на ровном месте. Мария переживала. Попыталась поговорить с сыном.

— Пройдет, мам, не беспокойся!

«Мне бы крайней не остаться», — думала Мария, но к молодым не лезла — пусть сами разбираются.

Николай возвращался с работы поздно, принимал душ, ужинал и уходил в комнату. Разговоров с матерью избегал то ли от боязни заговорить об отце и разбередить ее душу, то ли действительно уставал и ложился спать.

Отвлекаясь, Мария часто примеривалась к внучке и сильнее убеждалась — не в их породу пошла, видно, Маринкина захлестнула. Ей интересно было следить за Ритой. Вспоминала себя в этом возрасте.

У Риты одна забота — от «Нокиа» взгляд не поднимает и только и слышно — «Эйвон» помаду да тени выпустил. У нее в Ритином возрасте другие были...

...После смерти отца сестрам досталось поровну: первокласснице Нине поручили приносить дров на три печи — на русскую, на голландку и на «контрамарку» — круглую печь, обтянутую железом, стоявшую посреди дальней комнаты; Рае досталась работа по кухне.

Ремзавод обязательства по отношению к сиротам исполнял вовремя. Когда завозили угля и дров, приходил работник и стаскивал их в углярку. Корм для коров и овец сваливали перед оградой. Но даже при помощи работы по хозяйству, возложенной на Марию, хватало изрядно. Из стайки назем вычистить, скотине на ночь сена задать, по ведру жома поднести. Иной раз бабка Потаниха жалела сиротку и отправляла своего сына Серьгу (ее погодку) помогать вывозить навоз. А потом она шла и помогала Серьге.

У Потаниных огород под уклон. Нагрузят полный капот от «зилка», приспособленный под возку помета, сверху бычьей шкуру постелют, и радости больше, чем на наземе под горку скатываться, не найти.

Однажды весной строгая баба Лена (она велела — нужно выполнить) уехала в Кучук к родственникам. Разыгралась метель, и она припозднилась. Тогда Марии пришлось первый раз доить корову. Рыжий телок с белой звездочкой на лбу с тупыми рожками жалобно и надрывно мычал в загоне. Мария взяла литровую эмалированную кружку и подступилась к непослушной Зорьке...

Учились понемногу хозяйничать. Баба Лена по выходным затевала стряпню. Налепит булочек, а когда теста немного оставалось, вдруг взмахивала руками:

— Меня ж Потаниха звала, давление ей смерить нужно. Я мигом. Если задержусь, достряпайте. Яичком смажьте и в печку. Да смотрите в оба! А то пригорит. Переворачивайте противень.

Уже тогда интуитивно в маленькой девочке зарождалась та родительская любовь, недополученная ей, заставлявшая ее крепко обнимать младшенькую Нину и петь колыбельные, учить сестру выговаривать букву «р». Произносить не «улиса» и «курица», а нормально — «улица» и «курица». И радоваться, и смеяться вместе, когда Нина, завидев друга отца Сергача, кричала ему:

— Дядя Се-р-р-р-ежа, тр-р-р-рактор-р-р!

И эта «р» раскатисто летела по улице, звонким детским голоском шлепала по ушам и получалась настолько длинная, насколько широко растягивалась улыбка на лицах присутствующих.

На собрание к Рае и Нине ходила тоже Мария. Напускала строгий вид, хмуря брови, внимательно слушала наставления и замечания и по дороге от школы до дома старалась их не забыть и передать слово в слово бабе Лене...

— ...Бабуль, нам тут древо семьи задали сделать! — Рита, жуя жвачку, дула на недавно покрашенные ногти.— Не сможешь?..

— Чего еще выдумали?..

— Ну, надо рассказать о предках! Вкратце. Год рождения, чем занимался. Ну, ты поняла!

— Кто вас мучает?..

— Училка по обществознанию. Вторая с начала учебы пришла!

— Чего они у вас, как штаны на глисте?

— В смысле?

— Говорю, почему не задерживаются?..

Внучка пожала плечами:

— А я почему знаю! Говорят, денег мало платят... Первая, Лариса Анатольевна, в торговый центр трусами устроилась торговать, а говорила, уезжает в другой город.

— Ладно, с кого начнем?

— Про дедов я немного знаю. Давай с прадедов!

Мария вдруг улыбнулась.

— Ты чего, баб? — спросила Рита.

— Вспомнила, когда отец твой родился, Наталье пять лет исполнилось. Она с дядей Васей приехала на сенокос за отцом и пока бежала к нему, кричала: «Папка, братишка-Гришка родился!»

— Братишка-Гришка, забавно! — улыбнулась Рита. — Отцу бы пошло!

— Ты записывать будешь или запомнишь? — продолжила Мария.

— По отцовской линии прабабушка Анастасия Тимофеевна и прадед Иван Яковлевич... Они с Рогозихи. Баба Тася поваром работала, дед Ваня мастером леса. После войны дед Ваня окончил Бийский лесхозтехникум. По распределению за Обь в поселок Партизанский направлен на работу. У деда твоего три брата. Сергей — старший, он в Рогозихе родился, Александр, Василий и Михаил — уже за Обью. Баба Тася однажды призналась — Мишу тяжело рожала. Говорила: «Неправильно пошел». Дед Ваня посадил ее на лодку, и они поплыли к повитухе в ближайшую деревню. Надорвалась она тогда, но, слава Богу, родила. А когда обратно плыли, каялась, хотела грех на душу взять — утопить сына в реке. Думала, не нужен четвертый мальчишка, девочку ждали. Но дед Иван Яковлевич не дал. Прикрикнул на нее, напугалась Анастасия Тимофеевна шибко, а потом разумом дошла, чего сотворить хотела. Иван Яковлевич чувствовал, доброе сердце в маленьком комочке, да и нагляделся он за войну этих смертей — долго во снах убитые снились. А случись грех — и кто знает, и вы бы не родились.

— А Партизанский далеко?

— От Боровиково на пароме через реку. На берегу Инюшки несколько кордонов лесничих стояло. Миша рассказывал, без света жили, по нужде в траву, говорит, присядешь — обязательно ужонка спугнешь, а Иван Яковлевич однажды рано утром на работу встал, а на печи гадюка греется. Хорошо ребятишки еще спали. Он их по одному с печи снял, в комнату перенес на руках...

— Бабуль! Бабуль! Ты Расскажи, с дедом долго дружили? — Рита записала несколько предложений в тетрадь.

— Да какой там дружили! Я Натальей забеременела, а его в армию взяли. Перед родами вызвали. Ивану Яковлевичу, как фронтовику, в военкомате на уступку пошли. Летом свадьбу сыграли. А через месяц Васька заблажил, мол, Валька беременна. Анастасия Тимофеевна Ваську пуще всех любила, со сберкнижки деньги сняла, и им свадьбу сыграли, дом по Красному Алтаю купили. Людей не обманешь, посмеивались: «Васькина женушка уж двадцать лет «носит», родить до сих пор не может!» Позже они девочку с приюта взяли — черноволосую, кудрявую, похожую на Ваську, но уж чересчур смуглую, точно не в поповскую породу. Александр тогда на отца обиделся, свадьбу сыграл — с родителей ни копейки не попросил. Я помню ту зиму, одну картошку да капусту квашеную ели.

— Свадьбу сыграли, а дальше? — Рита натолкнула ее на забытую мысль.

В голосе Марии, увлеченной рассказом, слышались грустные нотки.

— После свадьбы у свекра осталась жить. Михаил в армии. Наталью в сентябре родила. В новой семье большой любви не чувствовала. Не раз просилась к бабе Лене обратно. Но баба не жалела, назад отправляла:

— Живи у свекра! Будь на виду! А то начнут говорить...

Дом у Поповых холодный оказался. Вместо фундамента — завалинка из опилок. Печка одна русская без водяного отопления. За печкой в маленькой комнате спали Иван Яковлевич с Анастасией Тимофеевной — в ней теплынь. В зале Сергей с Лю-

бой и годовалым Женей разместились, а я в дальней комнате, с Натальей. В валенках по дому ходили, обогреватели не спасали. Забот хватало: меня оставляли с детьми, а еще мужики на обед придут — накормить надо, убраться, пеленки постирать. Раз, когда все разошлись, дочку унесла за печку, погреться, повошкаться распеленованной. В тот момент вернулся Иван Яковлевич, — документы дома оставил. Увидел Наталью в их комнате — ничего не сказал. А вечером заявил Анастасии Тимофеевне, что спать они будут отныне в дальней комнате. А меня с дочкой переселили в маленькую. Ох, и противилась же тогда свекровь...

Рита слушает внимательно.

— Запоминай, внученька! По отцовской линии закаленные судьбы — до сих пор от них жар идет, кажется, только из кузнецкой печи достали. Дотронешься — обожжешься. А они за землю родную боролись — ухо приложишь — до сих пор стонет.

— Деда Ваня мне прадед. А прапрадед кто?

— Поповы — пришлые казаки с Урала. Яков — деда Вани отец, четырежды Георгиевский кавалер, бежал от большевиков на Алтай. Но и здесь его нашли, и в тридцатых годах, отобрав заслуженные регалии, пашку именную, отправили в ссылку в Приморье на угольные шахты. Осталась Лукерья — жена его с пятью малыми детьми. Говорят, Яков писал жене из ссылки. В письме звал ее ехать на поселение, но Лукерья — женщина малограмотная, но по-женски рассудительная, пожалела малых дитятков и осталась на прежнем месте, наверное, боялась неприятностей, да за детей переживала. Да и против дороги высказался свекор, дед Акат, оставшийся жить со снохой и внуками и отговоривший Лукерью уезжать.

— Ну, а потом? Яков вернулся?!

— Сгинул в чужой земле. Из Рогозинских мужиков кто-то возвратился, рассказал... Дед Ваня старший из детей. Вся помощь матери во многом легла на его плечи. Позже случилась война. Ранение, контузия, долгий период в госпиталях, но домой вернулся.

— А про баб Тасиной линии?

— Только про деда Тимоху знаю. Анастасии Тимофеевны отец. Про него в газете районной писали. Их семерых зажиточных кулаков из села репрессировали. В лагеря под Магадан отправили. Он рассказывал: дочка начальника лагеря на него глаз положила и определила работником на кухню. Он картофельные очистки воровал и ел. Если бы не она, говорит, помер бы. В пятьдесят третьем после смерти Сталина вернулся.

А в девяносто первом, при Ельцине, приказ пришел — амнистия. А бабка Се-рафима с пятью ребятишками осталась, когда его репрессировали. Тяжело же одной, с мужичком сошлась — дочку от него родила. А когда дед Тимоха вернулся — ему под шестьдесят стукнуло — еще двоих родили: дядь Толю и тетю Олю. Мы часто к нему ездили. Выйдет с костылем, на лавочку присядет, перед смертью не узнавал уже многих.

— А по твоей, бабуль, линии, кто у нас?

— Ну, про прадеда Петра ты знаешь, трактором придавило... Мать его старенькая, Домна, коротала деньки на соседской улице. Я бегала к ней с горки отогреться. Она угощала меня горячим чаем с конфетами и, с трудом передвигавшаяся по избе, рассказывала про свою нелегкую долю и уговаривала остаться. Я оставалась — конфет-то еще целый кулек. А раз прибежала, а она конфет не успела купить — и не стала у нее ночевать. Она сильно обиделась.

У Домны сыновья как на подбор — красавцы: фотки у меня лежат. Старший смуглый, в фуражке с красной звездой, в кожаной тужурке. Домна говорила, комиссаром служил. Второй — летчик, третий — танкист. Отец наш самый младший. Дом-

не на трех сыновей в один день похоронки пришли. Ноги сразу отказались ее слушаться. Зубы выпали. Зато волос черный, ни один не поседел!

После войны мужики, отправляясь на работу, уносили ее за деревню, закапывали в горячих песках, она отогревалась, а вечером откапывали обратно. И ей помогло. Поднялась на ноги. А потом ее из Родино в Павловск перевезли... До сих пор стоит в памяти — с «жуковой» косой, плохо ходившая, с грустью в глазах. Видно, смилостились над ней небеса — раньше прибралась, за год до гибели сына...

К Рите пришли подружки. Они закрылись в комнате, громко разговаривали и смеялись. Мария же прилегла на свой диванчик и окунулась в прошлое, воскресив в памяти светлые луга, дни страды, когда тело ломило от усталости, а душа летела...

...Перед ней возник высокий сочный костер, жмующийся к мелким озеркам на левой стороне Касмалы. В затянутых тиной и ряской болотинах, окруженных раскидистым ветляком, плещется то ли рыба, то ли выдра, сразу и не разберешь. Она вздрагивала, резко оборачивалась на звонкий всплеск воды и созерцала расходящиеся в разные стороны круги. Зато в реке точно рыба: чебак сверкнул чешуей, щука, подобно субмарине, бороздящей прибрежные воды, оставила на поверхности свойственные ей рассекающие следы, разогнав водомерок. Рядом в густой сочной траве мелькнуло черное пятно — тут же кровь прилила к голове, и подумалось: «Гадюка!» Их на сенокосе видимо-невидимо. Одна так и красуется — висит без башки, перерубленная острой литовкой, на кустах калины, напоминая: сапоги резиновые обула? Но, заметив желтое пятнышко у ползущего гада, смело выдохнула — ужонок прорывается к воде. Чуть горьковатый аромат пижмы и тысячелистника висит в воздухе, словно застывшая туманная дымка, опустившаяся ночью на сенокосные поля и исчезающая на глазах.

Свекра Ивана Яковлевича усаживают в резиновую лодку и вместе с едой, котелками, литовками и всяким другим скарбом сыновья (все четверо) переплавляют отца на ту сторону Веселенького. Приходит черед женщин. Они визжат, смеются, брызгают водой. Мужчины, раздевшись, втягивая животы от прохладной водицы, преодолевают препятствие вброд.

Белый, в черную крапину, конь, отмахиваясь хвостом от надоедливого овода, бьет копытом о землю, мотает головой вверх-вниз, недовольно фыркает, обнажая ряд крепких желтых зубов, ждет своей очереди. В воду идет неохотно, упирается, но, подстегиваемый Михаилом, сдается. От крупа коня тьма гнуса поднимается вверх, продолжает следовать за ним, снова атакуя его на другом берегу.

Копны подвозят к стогу. Женщины скирдуют. Валю и Любу снимают, остается Мария — у нее лучше других получается вершить стога. Главное — не забыть подсолить середку, верхушку, а то начнет сыроватое сено преть, и весь труд насмарку. Еще придавить бастрыками, связав их веревкой, а то ветер иной раз напроказничает.

К обеду один стог сметан. Иван Яковлевич завет обедать. В котелке дымится каша. Марии нравилась именно пшенная каша на молоке с картошкой и сливочным маслом, приготовленная свекром на костре.

Пот льется градом. Косынка прилипает ко лбу. Тело, наколотое сухим сеном, зудит, и невольно хочется окунуться в теплую Касмалу, смыть усталость. Но купания будут позже, а сейчас свекор торопит...

Норовя пропороть прожорливое брюхо острыми рифами сосен, над рекой нависла сизая туча, чуть светлей приобской ежевики, похожая на зубастую акулу.

Иван Яковлевич и рад бы взяться за вилы, но в Великую Отечественную войну контужен, отчего наступила частичная глухота. Получил ранение в грудь осколком, вылетевшим через спину и оставившим дырку глубиной и шириной в два пальца.

После рука правая еле поднималась, и не работали два пальца — указательный и большой.

— С правой стороны закругли, торчит! — командует Иван Яковлевич. — Серега, соль неси! Давай быстрее, сейчас ливанет! Бастрык крепи!

Из зубастой пасти раздаются рокошующие раскаты грома. Туча- хищник натывается на риф — сосну, и ливень идет сплошной стеной.

— Мишка, иди, снимай ее!

За шумом дождя голос свекра еле слышен. Кофта и трико вмиг промокли до нитки, и Мария скатывается вниз и попадает в крепкие объятия мужа...

4

По утрам, проводив сына и сноху на работу, а Ритку в школу, Мария выходила на улицу погулять. Завела общение с дворничихой, жившей в их подъезде, только этажом ниже. Раз излила ей душу, и вроде бы немного успокоилась, но искреннего человеческого сострадания от собеседницы не почувствовала.

— Ты веришь, Надь, ему в последнее время ничего не хотелось! Верно подмечали, непутевый он мне достался. Но добрый. И справедливый. Не наживной, правда. Из вещей ценных оставил рубанок да бензопилу. Можно подумать, знал, в другой мир ничего не взять. Железки берег, говорил, может в хозяйстве пригодятся, а вещи всякие мог потерять или подарить. Окна заказала пластиковые — взъерепенился! Говорит, деревянные еще лет пять продюжат. Через них считал, дышать легче. А кухонный гарнитур ему понравился. Без спора взяли.

Дворничиха Надька, в меру пьющая бабенка, чуть помладше Петровны, с вечно покрашенными алой помадой губами, орудуя метлой, хмыкнула:

— Какой-то он у тебя инфантильный. Ни че не надо. Пил, поди?

— Да-к, попивал. Не без греха. Мужик на селе постоянно пил, кто с устатку, кто от безделья, кто для праздника на душе.

— А твой?

— Да мой Миша больше с устатку, ну и для праздника тоже случалось. В основном, с братьями умаются на сенокосе, а потом нагужи да скидай. К работе они с детства приучены. Постоянно скотину держали. У него здоровья мало стало, оттого живность и свели. А дома все руками его сделано!

— Мирно жили? — спросила Надька.

— Всякое бывало! В любом состоянии, но домой приходил ночевать. В два — в три ночи слышу, лошадь заржала, значит, Миша мой дома. То пса выпущу, он мне его найдет. Раз вилок его колола, до того он мне печенку проел, возьми да ткни его. В сердцах, конечно. Потом жалела, прощенья просила.

— Бил, поди? — допытывалась Надька. — Я третьего, руку только поднял на меня, сразу выпроводила!

— Третьего? — удивилась Мария.

— Да, представь! Мы с ним два года хорошо жили, а потом началось! Первый-то, Серега, от меня ушел. Зараза, до сих пор его не забываю.

— А мы с Мишей до сорока лет чуть-чуть не дотянули. А бить — не бил. Поедет травку подкосить лошади на вечер, таволги мне полевой нарвет. Знаешь, и не розы, а приятно!

Надька в ответ то ли разозлилась, то ли позавидовала — с первого раза и не разобрать:

— С одним и сорок лет проживешь, хорошего не увидишь, а с кем-то и два года полных впечатлений. Мужики разные! А ты, Машенька, мой тебе совет — найди

мужичка, не забывай о себе. Ты посмотри, мы с тобой еще ягодки! Нам еще жить да жить!

После беседы горький осадок остался на душе у Марии. Вроде и выговорилась, успокоилась ненадолго, а вся та тоска, копившаяся в душе, задавила с новой силой.

Мария окунулась в размышления после разговора с дворничихой. Глядя в окно за Надькиными небрежными движениями, сказала тихо, боясь, вдруг та услышит:

— Уж Мишу я не предам!

Разворошила в памяти, когда один-единственный раз Михаил не пришел домой ночевать. В любом состоянии объявлялся — в час, в два ночи появится или лошадь привезет, а той ночью никто не постучал в ворота.

Сомнения закрались у Марии, когда муж не встретил ее с работы. Пришла домой — двери настежь (в конце зимы дело было), лошади в стойке не видать. Протопив печь, уставшая, заглянула к соседям, обежала поселок — не видели. По вещам на вешалке определила в чем уехал. Нарядился в новое — тулуп, шапка из чернобурки, валенки на подошве, купленные специально на выход.

Чуткий сон у Марии. При каждом шорохе чудилось вдалеке «Эх, дороги!». Тогда, накинув поверх ночнушки фуфайку и наспех надев на босу ногу обувь, выходила за ворота, долго всматривалась в темноту, выискивая знакомый силуэт, и, не дождавись, уходила в дом. Разные мысли одолевали ее: представляла мужа в объятиях чужой женщины, боялась, вдруг замерзнет или пырнут ножом в драке.

Утром раздался звонок. Долго не брала трубку. Но решилась — звонила из соседней деревни знакомая, сообщила, мол, видела во дворе у местных цыган их лошадь, предупредив сразу:

— Машка, если хочешь ее застать, приезжай скорей, а то вчера уже ходили по деревне продавали.

Собравшись, Мария пешком прошла до трассы добрых три километра и на попутке добралась до Жуковки. Плутала по улицам, пока ее не встретила Люба, звонившая утром и проводившая ее до места, рассказав по пути о бардаке, творившемся в доме у цыган, — каждый день то поножовщина, то даже до стрельбы иногда доходит.

Свернули в глухой проулок — длинный деревянный барак на две половины, по окна вросший в землю, отпугивал видом. Колорит добавляла нежилая вторая часть с разбитыми окнами, недавно горевшая. Лошадь, понутив голову, стояла покрытая изморозью в дальнем углу ограды. Мария толком не помнила, как оказались в продыmlенной маленькой комнатке, отыскивая среди десятка бормочущих в пьяном угаре мужиков своего ненаглядного, как выведя его на улицу и уложив в сани, благодарил сердобольную женщину.

Очнулась далеко за деревней, в полях. Сани кидало из стороны в сторону и, бросив взгляд на круп лошади, Мария поняла — отсутствует сбруя, которую Михаил ползими выделял заклепками. Вожжи волочились по снегу, но Манькой не приходилось управлять — чувствуя сторону дома, гнедая бойко бежала по знакомой дороге, завернув голову вправо.

Оглядываясь назад, на спящего в санях мужа, Мария не сразу уловила (осознала) в его облике изменения. Перед ней лежал вылитый цыган — в шляпе с широкими краями, в кожаной затертой куртке на молнии, а на ногах — стоптанные кирзовые сапоги.

Плакала от счастья — живой оказался. После накинулась на него в сердцах за ее переживания, за бессонную ночь, жалея новые вещи. Михаил бессвязно пытался оправдываться, мол, погорельцы, захотел помочь, тулупчиком мальчишку малехонького накрыл — спать ему теплей будет. А с тезкой цыганом, хозяином шалмана, побратски обменялись головными уборами, на память.

Несколько раз она сгоняла его с саней и отправляла обратно забрать вещи, но Михаил лишь виновато улыбался.

Приехав домой, гоняла мужа, заставляя управляться и топить баню. А потом оттаяла. Вечером мыла его, точно маленького ребенка, радуясь, что обошлось без неприятностей, зная — счастье и несчастье за ручку рядом ходят.

Так и жили: Михаил раздавал, а она его караулила; загуляет ли, дом открытым оставит, боялась — вынесут последние вещи. При жизни ворчала на него, а сейчас, будь Михаил жив, обняла бы и рассказала ему многое:

«Мишенька, плохо, пусто и одиноко стало в доме. Бросила наш уголок. За сорок лет привыкла — встречаешь меня из центра. Храню в памяти: возьмем бутылочку, отолью от нее половинку, остальное спрячу в сенцах. Боялась, вдруг сильно захмелеешь. А ты ее находил и «приговаривал». Ходил по двору да посмеивался надо мной. Газету покупаю редко, уж извини, зрение никчемным стало. Из гостей уже не спешу, некому оставлять двери настежь».



Аркадий Мар
(г. Нью-Йорк, США)



ВАЛЬС ДЛЯ НАТАШКИ
повесть в новеллах

Писатель и журналист, автор 14 книг повестей и рассказов, изданных в Москве, Ташкенте, Монреале (Канада). Член Союза писателей СССР, России, Москвы, Узбекистана. Член Международного ПЕН-клуба. Издатель и главный редактор газеты «Русскоязычная Америка NY». Лауреат четырех литературных премий: «Лучшая детская книга России», «Артиады народов России», «Серебряная Литера». Лауреат Международной литературной премии Владислава Крапивина.

ВЫСТАВКА ПОРОДИСТЫХ СОБАК

На двери третьего подъезда, где выбито стекло, висел большой лист бумаги:

«Объявление.

23 мая, в воскресенье, в нашем парке состоится выставка породистых собак. Победителям будут вручены ценные призы, грамоты и дипломы. Начало в десять часов утра.

Добро пожаловать на нашу выставку!»

— Да,— задумчиво произнесла Наташка.— Вот бы нам участвовать в этой выставке.

— Но у нас нет породистой собаки,— вздохнул Альберт.

— У нас вообще нет никакой собаки,— заметил Вадик.

— А давайте придумаем, где ее достать,— сказала Наташка.— Только думать нужно быстрее. Сегодня суббота, до выставки один день остался.

— Что если купить? — предложил Альберт.

— У меня в копилке должно быть уже целых рублей шесть накопилось,— сообщила Наташка.

— И у меня пять,— добавил Альберт.

— Сначала нужно узнать, сколько стоит породистая собака,— сказал Вадик.— Пойдемте к Кудрявцевым. У них страшно породистый бульдог есть...

Вадик нажал кнопку звонка и в квартире залаяла собака.

— Каким басом лает,— уважительно произнесла Наташка.— Наверное, порода по лаю и определяется.

— Назад, Рекс, назад! — послышался мужской голос. Дверь открылась, и показался лысый мужчина в полосатой пижаме.

— Извините, пожалуйста,— сказал Альберт.— Мы хотели узнать у вас одну вещь.

— Какую?

— Это породистая собака?

— Еще бы, Рекс призер трех выставок, медалист. А масть какая — во всем городе такой нет! Рекс, к ноге, сидеть!

Рекс подошел, презрительно посмотрел на ребят, открыл огромную, похожую на ведро пасть, зевнул и, плюхнувшись на подстилку, закрыл глаза.

— Да, — сказал Вадик восхищенно, — он, наверное, на любой выставке первое место займет.

— Вы Рекса не продадите? — спросила Наташка. — Не волнуйтесь, у нас деньги есть.

Лысый мужчина подумал, помолчал, почесал затылок и наконец ответил:

— Пожалуй, можно. А то на работе командировками совсем замучили, с собакой гулять некому... За четыреста рублей продам.

— А за меньше нельзя? — поинтересовался Альберт. — У нас только одиннадцать.

— Одиннадцать — как раз на покупку курицы хватит... Рекс, домой!

Рекс открыл сначала один глаз, потом другой, лениво встал, потянулся, вошел в квартиру и дверь закрылась.

— Что же делать? — грустно спросил Альберт.

— Придумал! — воскликнул Вадик. — Попросим просто одолжить Рекса на один день!

И они позвонили снова.

— Вы еще здесь? — удивился мужчина в пижаме.

— Завтра в парке выставка собак, — сказала Наташка. — Одолжите Рекса на один день. Только на один!

— Еще чего придумали! Так и доверю вам собаку. Рекс, голос!

Из-за двери выглянул Рекс, грозно округлил глаза и громко пролаял: «Гав! Гав!»

И дверь опять закрылась.

— Теперь уже ничего не придумаешь, — грустно сказала Наташка...

На скамейке, возле песочницы, сидела соседка Марья Степановна и читала журнал «Здоровье».

— Вы что такие грустные? — поинтересовалась она.

— Да вот, хотели участвовать в выставке, — за всех ответила Наташка. — Только собаку достать не можем.

— Не люблю собак, — сказала Марья Степановна. — От их лая только голова болит. Вот кошки — другое дело!

— А породистые кошки бывают? — спросил Альберт.

— А то как же! Недавно в газете прочитала. В Америке одну кошку за десять тысяч долларов продали!

— Ну, — удивилась Наташка. — За так много! А Рекс всего четыреста рублей стоит!

— Марья Степановна, дорогая, вы в кошках хорошо разбираетесь? — с надеждой спросил Вадик.

— Конечно. Я тебе, милый, про любого кота такое могу рассказать, ни один профессор не знает.

— Наташка, подойди на минутку? — тихо позвал Вадик, и они отошли в сторону. — Слушай, — зашептал он, — принеси кошку. Ну ту, которую мы у живодера Капитонова отобрали. Может она породистой окажется?

И Наташка со всех ног побежала в свой подъезд...

Она открыла дверь, заглянула под диван, на кухню, увидела кошку, сидящую на холодильнике, прижала ее к груди и заспешила назад.

— Марья Степановна, посмотрите,— попросила Наташка.

— Какая пушистая. Ну-ка дай! Она взяла кошку на руки, погладила, повернула к себе и стала почесывать за ушами. Кошка закрыла глаза и довольно замурлыкала.

— Очень хорошая кошка,— одобрила Марья Степановна.— И родословная у нее, наверное, неплохая.

— А что такое родословная? — поинтересовался Вадик.

— Как тебе объяснить? ... А-а, придумала! Как зовут твоего отца?

— Володя.

— Маму?

— Марина.

— Дедушку?

— Дедушка Иван.

— А бабушку?

— Баба Ньюра.

— Вот ты и рассказал свою родословную.

— А зачем родословная кошкам?

— Так и узнают по родословной, породистая она или нет. Понятно? Ну я пойду, мне еще в магазин успеть нужно.

Она встала со скамейки, кошка недовольно заворчала, приоткрыла желто-зеленый глаз, и спрыгнула на землю...

— Ура! — закричал Вадик.— Теперь мы тоже в выставке можем участвовать. У нас породистая кошка есть!

— Но сначала нужно узнать, как зовут кошкиных родителей,— напомнил Альберт.

Наташка подняла кошку на руки и попросила:

— Кошечка, милая, как звали твою маму и папу?

Но кошка молчала.

— Так она тебе и скажет,— засмеялся Вадик.— Самим нужно придумать самую лучшую родословную, чтобы первое место занять. Сейчас принесу учебник истории, по нему сестра в институте занимается. Из него и возьмем...

— Пиши,— сказал Вадик, вернувшись, и протянул Альберту большой лист бумаги и красный фломастер.— Только красиво пиши!

Он открыл учебник, полистал страницы.

— Вот! «Король Артур и рыцари круглого стола». Пиши: отец — Король Артур и рыцари круглого стола!

— Как красиво,— задумчиво произнесла Наташка.— Король Артур и рыцари круглого стола.

— А мать как назовем? — напомнил Альберт.

Вадик полистал учебник еще.

— Здесь только про мужчин да про мужчин,— сказал он.

— Я знаю! — заявила Наташка.— Вчера кинопанораму смотрела... Давайте назовем Знаменитая итальянская киноактриса Софи Лорен.

— А что,— согласился Альберт.— Отец — Король Артур и рыцари круглого стола, мать Знаменитая итальянская киноактриса Софи Лорен. Очень даже хорошая родословная получается.

— Так, пошли дальше,— сказал Вадик.— Теперь дед нужен. Вот послушайте:

«Король Англии из династии Плантагенетов Ричард Львиное Сердце участвовал в крестовых походах и отличался большой храбростью».

— Какое красивое имя, отчество и фамилия,— обрадовалась Наташка.— Я таких никогда не встречала.

— Ну я пишу,— сказал Альберт.— Дедушка — «Король Англии из династии Плантагенетов Ричард Львиное Сердце участвовал в крестовых походах и отличался большой храбростью». Теперь только одно имя осталось. Можно я его придумаю?

— Конечно,— разрешил Вадик.

— Пиковая дама!

— А кто это такая?

— Опера, ее сам Чайковский сочинил.

— А-а,— протянул Вадик.— Если сам Чайковский — тогда можно. Читай сначала, как получилось?

Альберт набрал побольше воздуха и с выражением прочел:

— Отец — Король Артур и рыцари круглого стола. Мать — Знаменитая итальянская киноактриса Софи Лорен. Дедушка — Король Англии из династии Плантагенетов Ричард Львиное Сердце участвовал в крестовых походах и отличался большой храбростью. Бабушка — Опера самого Чайковского Пиковая дама.

— Здорово! — восторженно произнесла Наташка.— Да с такой родословной мы обязательно займем первое место!

— Самое главное забыли,— напомнил Вадик.— Кошке тоже нужно имя придумать! Назовем ее... Харлей-Давидсон — самый лучший мотоцикл в мире. Когда вырасту, у меня такой же будет!

— А меня на нем покатаешь? — попросила Наташка.

— Конечно, все тебе страшно завидовать будут!

...Следующим утром Наташка еще лежала в постели, когда со двора раздался голос Альберта.

Наташка быстро оделась, на ходу, путаясь в шнурках, сунула ноги в кеды, схватила кошку и бросилась к двери.

— Ты что так долго спишь? — сказал Альберт.— Я даже устал тебя кричать. И Вадика еще нет.

— Давай сами за ним зайдем.

Двери им открыла мама Вадика.

— Вадик простудился,— сообщила она.

— Мама, кто это пришел? — спросил Вадик из соседней комнаты.

— Это мы,— ответила Наташка.

Вадик, тепло одетый и с перевязанным горлом, показался в дверном проеме.

— Мамочка, можно я с ними пойду? — попросил он.— Я честно-честно с завтрашнего дня болеть буду

— Ну нет,— строго сказала Вадикина мама.— Сегодня посидишь дома, а завтра будешь совсем здоров. Придется твоим друзьям обойтись без тебя.

— Не волнуйся,— сказал Альберт.— Болей спокойно. Мы потом к тебе зайдем и все расскажем.

— Какая кошка красивая,— сказал Вадик.— Пушистая-пушистая.

— Я ее вчера вечером в польском шампуне искупала,— объяснила Наташка.— А она мне все руки расцарапала. Не знаю, почему кошки так купаться не любят?

— А как вы ее на выставку понесете? — спросил Вадик.

— В руках, конечно,— ответил Альберт.

— А вдруг она убежит по дороге! Нужно ее в сумке нести.

И Вадик принес спортивную сумку.

— И вот еще лента, у сестры взял. Завяжи, Наташка, ей бант. Только красиво.

Наташка взяла широкую желтую шифоновую ленту, и на шею у кошки появился пышный бант.

Они осторожно опустили кошку в сумку и застегнули молнию.

— Бегите быстрее, — сказал Вадик. — Уже целых десять часов...

В парке играла музыка и было очень много людей. Альберт и Наташка прошли по аллее и увидели большую заасфальтированную площадку, полную собак и их хозяев.

— Смотри, вон выставка! — сказал Альберт и они подошли поближе.

— Тоже участвуете? — спросил их усатый мужчина с большим черным догом на поводке. — Какая у вас собака, болонка?

— Нет, — гордо ответила Наташка. — У нас с самой лучшей родословной!

— Идите зарегистрируйтесь, — посоветовал хозяин дога. — Это там, где жюри сидит.

И они пошли мимо сидящих и лежащих собак. Все собаки почему-то вытягивали морды к Наташкиной сумке, начинали громко лаять и рваться с поводков.

— Дяденька, — спросила Наташка у седого мужчины в очках, стоявшего у столика с табличкой «Регистрация участников». — Это вы регистрируете?

Он повернулся к ним, внимательно посмотрел и поинтересовался:

— А что, вы тоже участники?

— Конечно, — произнес Альберт. — У нас все по правилам. И родословная есть, — и он протянул родословную.

Седой мужчина взял родословную развернул и вдруг рассмеялся.

— Где же он, ваш Харлей-Давидсон? — спросил он. — Можно на него посмотреть?

Наташка поставила сумку на землю, потянула замок, — из сумки высунулась кошкина голова, потом пышный желтый бант, кошка испуганно оглянулась, увидела собак, выпрыгнула из сумки и отчаянно помчалась со всех лап.

— Стой! — закричала Наташка. — Стой!

Но кошка была уже далеко, потом перемахнула через забор и исчезла совсем.

Из Наташкиных глаз ручьем потекли слезы.

— Ну что ты, — сказал седой мужчина. — Ты же уже большая. Не нужно плакать.

— Мы так готовились, так готовились, — сквозь слезы говорила Наташка. — Тоже хотели участвовать. Только собаки у нас нет.

— Как ваши фамилии?

— Ее — Чеснокова Наташка, а моя — Юлдашев Альберт.

— А я директор выставки Сергей Иванович. Приглашаю вас ее посмотреть. А за кошку не бойтесь. Она, наверное, прямо домой побежала. Садитесь за мой столик, я сейчас приду...

— Открываем нашу выставку! — громко объявило радио. — Сначала состоится парад участников.

В параде участвовали самые разные собаки: большие и маленькие, очень большие и совсем крошечные, черные и белые, коричневые и ослепительно рыжие. Они гордо шли рядом со своими хозяевами, высоко подняв головы и презрительно смотрели на других собак...

Выставка продолжалась, наверное, целых два часа. Наконец все собрались в центре площадки.

— А сейчас,— объявило радио,— называем победителей! Первый приз получает сенбернар по кличке Лорд.

Радио заиграло туш и Сергей Иванович надел красивую медаль на шею собаки, а затем пожал руку ее владельцу и вручил красивый диплом.

— Какая большая собака,— уважительно сказала Наташка.— Вот бы ее зимой в санки запрячь!

— Сразу половину двора увезет,— согласился Альберт.

А по радио вызывали все новых и новых победителей...

И ВДРУГ!!!

— Приглашаются самые юные участники нашей выставки: Чеснокова Наташа и Юлдашев Альберт!

— Это же нас,— почему-то шепотом произнес Альберт,— нас вызывают!

— За активное участие в выставке Альберт и Наташа награждаются почетным дипломом.

Сергей Иванович торжественно вручил им дипломы и сказал:

— Еще для вас есть маленький сюрприз,— и... протянул рыжего лохматого щенка.— Это породистый щенок, терьер.

Вот только имени у него еще нет. Ухаживайте за ним хорошо. И приходите за консультацией...

Они шли домой через весь парк и гордо смотрели по сторонам. Еще бы, ведь теперь у них тоже была собака. Страшно породистая собака - терьер! Альберт шел впереди, размахивая дипломами, и все время оглядывался на Наташку. Она прижимала щенка к лицу, зарывалась носом в его рыжую мохнатую шерсть. Щенок щурил блестящие карие глаза и иногда малиновым шершавым язычком начинал облизывать Наташкин нос.

— А как мы его назовем? — спросил Альберт.

— Конечно, Харлей-Давидсон,— ответила Наташка.

ПОДАРОК

— Послушай, Альберт,— сказала Наташка.— Я с тобой хочу посоветоваться.

Они сидели на скамейке возле песочницы, где по вечерам собираются пенсионеры, и Альберт, наклонившись, задумчиво что-то чертил по песку.

— Понимаешь, у папы завтра День рождения, а я никак не придумаю, что ему подарить.

— Подарить можно что хочешь,— отозвался Альберт.— Я, например, маме подарил духи.

— Скажешь тоже! Духи только женщинам дарят.

— Почему? Моему отцу на работе преподнесли французский одеколон. Зеленая такая бутылочка. А пахучий! Я чуть-чуть на себя вылил — так запах две недели держался!

— Не-е,— отказалась Наташка.— Мне нужно что-нибудь необычное, а ты с одеколоном пристаешь. Сам подумай! Одеколон этот скоро кончится — вот подарка уже и нет.

— Тогда не знаю... А что твой отец любит?

— Любит?.. Газету «Советский спорт», конфеты, лежать на диване. Не любит мыть посуду. Обожает свою работу — даже домой часто расчеты приносит. Потом цветы, меня, конечно, ходить в гости — но почему-то редко получается... Что еще?.. А, вот! Читать про путешествия в дальние страны, смотреть футбол и хоккей по те-

левизору, собирать мои рисунки — целая папка уже набралась. Подожди, сейчас еще вспомню... И когда-нибудь увидеть море!

Наташка перевела дух и остановилась.

— Да, — вздохнул Альберт. — Тут в два счета запутаться можно, что подарить.

— Вообще-то сначала я хотела нарисовать море, — неуверенно произнесла Наташка.

— Ну и нарисуй. Это же просто! Закрашиваешь бумагу в синий цвет, потом изображаешь кораблик с трубой. А из трубы дым. Вот и все море.

— Да нет! Так — я запросто могу. Хоть тысячу-миллион морей. Мне другое нужно.... Как тебе объяснить? Ну, чтобы оно было как настоящее. Понял?

— Так, Наташка, рисовать трудно. Придется очень стараться.

— Пусть! Это же подарок... Вот ты в прошлом году в правдашнем море купался и рисуешь хорошо. Поможешь?

— Ладно, — согласился Альберт и они пошли к Наташке домой...

— Нам с тобой только три часа осталось, — предупредила Наташка. — Ровно в шесть папа с субботника придет. У них на работе месячник озеленения объявили.

— Запросто успеем, — успокоил Альберт. — Показывай, что у тебя есть...

Наташка открыла средний ящик серванта, достала краски, фломастеры, бумагу.

Они разложили все это на столе и принялись за работу.

Наташка нанесла на чистый лист волнистую голубую линию, отодвинулась, прищурила левый глаз и спросила:

— Похоже на волны?

— Вообще-то не очень, — сказал Альберт. — Когда дует сильный ветер, море темнеет.

Он взял другой лист бумаги и начал рисовать сам.

— Мне не нравится! — заявила Наташка. — Почему-то у тебя все черным цветом закрасилось.

— Я же изображаю море в самую сильную бурю! Да еще ночью. А ночью всегда темно.

— А луна?

— Луна? Луну облака закрыли.

— Знаешь что. Давай лучше рисовать море днем. И в хорошую погоду.

Альберт посмотрел на свой рисунок и сказал:

— Неохота снова начинать.

— Ну как знаешь.

Наташка придвинула к себе голубую краску, обмакнула в нее кисточку и... море начало получаться спокойным. В нем отражались облака и солнце. А вдали, похожий на чайку, плыл парусный корабль.

— Здорово! — похвалил Альберт. — И цвет точь-в-точь поймала. Голубой — даже смотреть больно... Только знаешь, кажется, рисунок очень уж маленьким получился... Послушай! Что если нарисовать прямо на стене? Недавно я был в гостях, так там все двери разрисованы. Представляешь — простая дверь в другую комнату, а на ней, над крышами, печными трубами и какой-то башней, летит Карлсон. По-моему, на стене рисовать гораздо лучше... А твой отец не будет ругаться?

— Не-е, что ты! Он хороший и все-все понимает. Потом, *это же подарок!* А кто за подарки ругается! Давай быстрее стену выбирать!

Альберт внимательно осмотрел комнату и даже зачем-то взглянул на потолок.

— Кажется, эта сгодится, — наконец произнес он. — Помнишь, ты говорила, твой отец любит лежать на диване. Вот он и будет лежать и смотреть на наше море. А оно

знаешь как для здоровья полезно. Об этом все медицинские журналы в каждом номере пишут... А рисовать на твоих стенах одно удовольствие — такие светлые обои наклеены...

Сначала они расстелили на полу газеты, придвинули стол к стене и Альберт залез на него.

— Давай разделимся,— предложил он.— Я буду работать над небом, солнцем и облаками, а ты, Наташка, берись за воду — она у тебя лучше получается.

— Ладно,— согласилась Наташка.— Только чур, очень стараться...

Наконец они закончили.

— Уф! — выдохнула Наташка и потянулась.— Устала же я.

— Я тоже,— честно признался Альберт.— Знаешь, давай отойдем, посмотрим, как получилось.

Они собрали газеты, поставили стол на место, отошли и сели на диван.

Картина получилась большой!

Море начиналось от пола — чудесное море, полное ярко-синей воды и блестящее, как зеркало. Разбрасывая брызги, по его поверхности носились дельфины, а вдали, похожий на чайку, плыл старинный корабль. На его узком корпусе горела гордая надпись «Фрегат».

Небо тоже было красивым!

Оно, казалось, возникало из самой воды, отделенное от нее тоненькой бледной полоской,— прекрасное голубое небо, уходящее к потолку. По его глубоким просторам парили стаи мохнатых медленных облаков, и ярко-оранжевое солнце разбрасывало во все стороны жаркие длинные лучи.

— Посмотри,— вдруг сказала Наташка.— Комната стала другой. Какой-то светлой.

— И еще будто раздвинулась и стала больше,— добавил Альберт..

— Вот папа удивится,— произнесла Наташка.— А сколько сейчас времени? Ух ты, половина седьмого! Он же сейчас придет...

Я открыл дверь и вошел в прихожую.

— Вы что такие чумазые? — удивился я, увидев Наташку и Альберта, с ног до головы обляпанных краской.

— Мы тебе подарок готовили,— объяснила дочь.

— Какой подарок?— насторожился я.

— А ты закрой глаза и пошли в комнату. Только, чур, не подглядывать!

Наташка взяла меня за руку и повела за собой.

Все,— разрешила она.— Теперь можешь смотреть!

И я открыл глаза...

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЖУРАВЛИКОВ

— Ну что ж,— сказал отец Вадика.— Если хотите, расскажу о своих поездках.

— Конечно, хотим,— быстро ответила Наташка за себя и Альберта.

— Расскажи сначала про Японию,— попросил Вадик.— Это такая интересная страна!

— Ну хорошо. Про Японию, так про Японию. Только подождите минутку, трубку набью.

Он открыл коробку с табаком и аккуратно, маленькими щепотками стал насыпать табак в трубку.

— Какая у вас трубка интересная,— сказал Альберт.— А зачем на ней чертик вырезан?

— Чертик для красоты. А вот дерево, из которого изготовлена трубка, действительно необычное. Это сандаловое дерево. Оно обладает очень тонким ароматом.

— А-а, знаю,— обрадовалась Наташка.— Из этого дерева делают духи и одеколоны!

— Насчет духов и одеколонов не знаю,— улыбнулся отец Вадика,— но точно знаю, что из него изготавливают столы и стулья.

— Здорово,— сказал Альберт.— Стоит в комнате мебель и пахнет духами.

— Это еще не самое интересное, что есть в Японии,— вступил в разговор Вадик.— Папа, расскажи про кошек.

— Кошки там действительно необычные — бесхвостые, с голубыми глазами, очень любят купаться и прекрасно плавают... Но что мы все о кошках да о кошках. Я расскажу про город Хиросиму! В этом городе произошла самая страшная трагедия на земле, от взрыва атомной бомбы погибло двести тысяч человек... И сейчас, много лет спустя, та бомба приносит много горя. Дети и внуки людей, переживших ядерный взрыв, заболевают страшной болезнью — лейкемией. Лучшие врачи стараются победить болезнь, но, к сожалению, не всегда это удается, и тогда со всех концов Японии люди шлют маленьких бумажных журавликов. Японцы верят: если журавликов будет ровно десять тысяч, болезнь отступит. Такая вот сила якобы заключена в простых журавликах из бумаги...

— Когда вырасту,— вдруг произнесла Наташка,— то обязательно запрещу все-все пули, бомбы и снаряды.

— Тогда вырастай поскорее,— сказал отец Вадика...

— Папа, можно я пойду их провожу,— попросил Вадик.

— Только недолго. Тебе еще две задачи решить нужно...

— До завтра,— сказал Альберт.— Смотрите, не забудьте, что у меня завтра день рождения!

— Ладно-ладно,— отозвалась Наташка.— Мы про твой день рождения уже целую неделю знаем.

И они разошлись по домам...

— Что-то ты сегодня подозрительно чистая,— удивился я, когда мы возвращались из детского сада.

— Вечно ты все забываешь,— ответила дочь.— Сегодня у Альберта день рождения,— она на секунду задумалась и вдруг сказала,— пойдем тоже со мной?

— Как-то неудобно. Там, наверное, одни дети собираются.

— Ну и что? Зачем тебе одному дома сидеть? А так с родителями Альберта познакомишься!

— Хорошо,— согласился я.— Уговорила...

Я выбрал самый красивый галстук, повязал перед зеркалом модным узлом, провел щеткой по волосам и повернулся к Наташке.

— Ой, папа! — сказала она.— Какой ты сегодня красивый. Будь всегда таким!

— Постараюсь... Да, чуть не забыл. Нужно же подарить что-нибудь. Альберт сказки любит?

— Конечно,— ответила дочка.— Даже очень.

— Тогда мы ему подарим отличные сказки.

Я снял с книжной полки толстую серую книгу. На переплете золотыми буквами было выведено: «П. Бажов. Малахитовая шкатулка»...

Во дворе, возле песочницы, нам повстречался Вадик.

— Это я уговорила папу с нами пойти,— похвасталась Наташка.

Мы поднялись по лестнице и позвонили имениннику.

— Что-то долго никто не открывает,— удивился Вадик.— Давайте еще раз на звонок нажмем.

Мы позвонили еще и еще.

Вдруг приоткрылась соседняя дверь и соседка сказала:

— Зря звоните, там нет никого. Часа два назад мальчика «Скорая помощь» увезла.

— Как увезла? — в один голос спросили мы.

— Вот так. Аппендицит у него. Доктор сказал — операцию делать нужно. А ведь сколько раз Альберту говорила: не бегай, не бегай, и вот, добегался.

— Поехали в больницу,— сказала Наташка.— Только узнаем, как он себя чувствует. Ну, пожалуйста!

— Хорошо,— согласился я. Потом повернулся к Вадиду,— а твои родители волноваться не будут?

— Нет, что вы. Я им потом все объясню...

Мы остановили такси.

— Нам в больницу,— сообщила Наташка водителю.— Там Альберту операцию делают. У него аппендицит.

— Аппендицит — это не страшно,— сказал таксист.— Через неделю твоего Альберта уже домой выпишут.

Мы подъехали к больнице и я попросил таксиста:

— Подождите нас, пожалуйста, мы только узнаем, как здоровье мальчика...

Через стеклянную дверь мы прошли в большой, ослепительно белый коридор. Там пахло лекарствами и куда-то спешили люди в белых халатах.

— Извините, где здесь можно узнать о здоровье мальчика? — спросил я в регистратуре.

— У него аппендицит,— добавил Вадик.

— Мальчика сегодня привезли?

— Да,— ответили мы все вместе.— Его имя и фамилия Альберт Юлдашев.

— Его уже прооперировали. Врач сказал очень запущенный случай.

— А как он себя чувствует?

— Пока состояние тяжелое. Вы родственники?

— Нет, друзья,— ответила Наташка.

Мы вышли из больницы и опять сели в такси.

— Ну и как здоровье вашего Альберта? — поинтересовался водитель.

— Врач сказал: «Состояние тяжелое. Очень запущенный случай»,— ответил Вадик.

— Да, не повезло вашему другу. Наверное, надолго в больницу попал.

— А от аппендицита умереть можно? — вдруг спросила Наташка.

— Еще как,— ответил таксист.— Вот недавно был случай...

— Остановите машину,— попросил я.— Дальше мы пешком пойдем...

Уже стемнело, когда мы возвратились домой.

— До завтра,— грустно попрощался с нами Вадик.

Но Наташка о чем-то задумалась и забыла сказать Вадиду: «До свидания»...

— Папа,— утром попросила меня дочь.— Позвони в больницу.

Я набрал номер. Трубку долго не поднимали, но вот далекий голос произнес:

— Вторая хирургия, слушаю.

Я спросил о здоровье Альберта.

— Пока без изменений,— ответили мне.

— Нужно что-то делать,— грустно сказала Наташка.

— Но что?

Я попробовал успокоить дочь.

— Наташка,— сказал я бодрым голосом.— Врачи у нас опытные и лекарства лучшие в мире. Уверен, завтра Альберту станет гораздо лучше!

— Папа,— вдруг спросила моя дочь.— Ты умеешь делать бумажных журавликов?

— Что? — переспросил я.— Каких журавликов?

— Маленьких журавликов из бумаги.

— Нет, маленьких журавликов из бумаги я делать не умею. А зачем они нужны?

— Если мы сделаем ровно десять тысяч журавликов, Альберт выздоровеет!

— Что за фантазии? Вечно ты придумываешь разные глупости.

— Никакие не глупости,— обиделась дочь.— Я совершенно точно знаю: если будет ровно десять тысяч журавликов, Альберт выздоровеет!

— Но почему именно десять тысяч?

— Так надо. В Японии этим способом лечат страшную болезнь лейкемию. А аппендицит недавно вылечится.

— Но мы с тобой понятия не имеем, как делаются эти журавлики.

— Давай попробуем.

Мы убрали все со стола и вытащили имеющуюся в доме бумагу. Первый журавлик у нас явно не получился. Второй тоже. Третий почему-то был похож на женскую шляпу с лентами.

Но постепенно мы научились делать журавлей!

Они вылетали из под наших пальцев все красивее и красивее, важно рассаживались на серванте, диване, стульях,— на столе места больше не было,— самые разные журавли,— из газет, тетрадей в линейку и клеточку, салфеток, а также из неизвестно как попавшей в дом обложки журнала мод...

— Давай отдохнем,— попросил я.— Мы уже часа три работаем.

Наташка рукавом утерла потный лоб и сказала:

— Ой, как много получилось! Сосчитай, а то собьюсь.

И я начал считать журавлей.

— Шестьдесят девять,— сказал я.— Кажется, десять тысяч мы и за год не сделаем.

В нашу дверь позвонили и дочь пошла в прихожую.

— Это Вадик,— сообщила она оттуда.— Сейчас он нам тоже помогать будет.

— А сколько еще нужно до десяти тысяч? — поинтересовался Вадик.

— Девять тысяч девятьсот тридцать один,— ответил я.

— Папа говорит, столько мы и за год не сделаем,— вздохнула Наташка.

— Я знаю, что нужно делать! — сказал Вадик.— Нужно звонить в каждую квартиру и просить, чтобы нам помогли. Сегодня воскресенье, на работу же никто не идет.

— Правильно,— поддержала его Наташка.— Какой ты, Вадик, умный. Я бы никогда-никогда сама не додумалась.

— Тогда и я с вами пойду.

— Отлично, папа,— обрадовалась Наташка.— Вместе мы еще быстрее все квартиры обойдем...

И мы стали звонить в каждую квартиру.

— Извините, пожалуйста,— говорили мы,— мы к вам по не совсем обычному

делу. Наш друг, мальчик Альберт, тяжело болен, и чтобы он выздоровел, необходимо сделать десять тысяч бумажных журавликов. Не могли бы вы нам помочь?

Сначала нас не очень хорошо понимали, но мы объясняли еще и еще, и постепенно люди начинали улыбаться.

— Конечно, мы поможем. С удовольствием, поможем. Только научите нас делать этих журавликов.

Мы учили. А потом шли дальше и дальше....

Наступил вечер. Усталые, мы сидели за столом и из последней бумаги вырезали журавлей.

И тут раздался громкий звонок. Наташка побежала открывать и вдруг закричала:

— Ой, идите все сюда!

— Мы с Вадиком бросились к двери и увидели множество людей. Люди стояли у нас в прихожей, перед настежь открытой дверью, на лестнице, даже в подъезде. Все они держали бумажных журавлей. Держали в сумках, авоськах, просто в руках.

Журавли были самые разные: очень большие и совсем крошечные, самых разных цветов и размеров. Журавлики, похожие на журавлей, и совершенно не похожие. Но самое главное, их было много. Очень-очень много. Наверное, целых десять тысяч!

Люди входили к нам в квартиру, выпускали журавлей на свободу. Журавлики тесно — крыло к крылу рассаживались на подоконнике, книжных полках, телевизоре, просто на полу, на кухне, в ванной.

— Спасибо,— говорили мы всем — мужчинам и женщинам, детям и совсем пожилым уже людям. — Спасибо! Большое спасибо!

А они улыбались и спрашивали:

— Может, еще что-то нужно сделать для Альберта?..

Утром я вновь набрал номер больницы.

— Как здоровье Юлдашева Альберта,— спросил я.

— Гораздо лучше. Худшее уже позади,— ответили мне.

— Ура! — закричали мы с дочерью.— Худшее уже позади!!!

— Нужно об этом всем-всем сообщить,— предложила Наташка.

И мы стали звонить в каждую квартиру.



Ефим Гаммер
(г. Иерусалим, Израиль)

**ОКИ-ДОКИ:
МУРМАНСК — СЕВЕРОМОРСК — АМДЕРМА ***



Наш почтотный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

4

На рассвете меня опять разбудил телефонный звонок импортного производства, дающий надежду на что-то хорошее. Однако и в этот раз на противоположном конце провода топтался неугомонный Ливик Генделист, прошедший остаток ночи, как выяснилось, не в баре Интерклуба моряков заграничавания у кружки пива и красных, как первомайские транспаранты, раков, а за познавательной книжкой.

— Оки-доки! — доложил он. — Полное распознавание слова «Амдерма» у нас состоялось. Пострадавших нет.

— Древнее слово?

— Древнее, древнее. Почитай, со времен динозавров.

— Динозавры вымерли, Ливик.

— А слово осталось.

— Ну, расшифровывай.

— Чего расшифровывать? — понес на скоростях Ливик. — Я тебе цитатку выложу, как из учебника. «До наших дней, — говорится в книжке, — дошло предание о происхождении названия поселка Амдерма. Однажды охотник-ненец, плывший на лодке по Карскому морю, увидел на побережье многочисленную залежку ластроногих. И, пораженный, воскликнул «Амдерма!». В переводе это — «лежбище моржей». Потом первопроходец — ненец привел сюда своих родичей. Они поставили на берегу чумы, образовали стойбище. С той незапамятной поры это местечко так и называется — «Амдерма».

— Ливик! А на каком языке воскликнул ненец? Не сказано?

— На древнем, должно быть.

— Каком — древнем?

— Матерном, полагаю.

— Не городи чепухи!

— Почему — «чепухи»? Слушай сюда! Продаю информ-бля-шку на первую полосу. В последний раз, когда я был в Интерклубе, там выступал Ролан Быков.

— Вчера там выступали заезжие лабухи, Ливик! Забыл?

— Не лови на слове. У меня присловье такое, для девочек, чтобы вешать лапшу на уши.

* Главы из повести.

- Мне не вешай.
- Тогда гони уши к пониманию, слушай сюда.
- Слушаю.
- Знаешь, что рассказывал Ролан Быков? А рассказывал он вот что... Ладно, моему изложению на вольную тему ты не доверяешь. Оки-доки! Секундочку терпения: раз-цвай-драй! Открываю журналистский блокнотик, и... Теперь слушай. Запись — как с магнитофона «Яуза». Читаю вслух: «чтобы правдиво сыграть роль скомороха у Тарковского в том самом «Рублеве», что на наши экраны не вышел, Ролан Быков по благу пролез в Спецхран, где хранились оригинальные тексты этих шутников-затейников пятнадцатого запойного века. И что? Последние волосы потерял от удивления! Древние тексты наших предков-юмористов представляли собой сплошной русский мат». Конец записи — в вольном моем изложении. Годится на первую полосу?
- Ливик, я интервью с Роланом Быковым напечатал еще три недели назад.
- С матом?
- Без мата.
- Оки-доки! С тобой все понятно. В современную газету с древним языком — ни-ни! Выпрут. Но под ледяным солнцем чем еще греться ненцу? Какой к нему там древний язык может пожаловать, кроме русского мата?
- Ливик! У нас только один древний язык остался, да и тот под запретом. Не соображаешь?
- Динозавры вымерли, а язык остался. Опять за свое. Так, что ли?
- Кстати, Ливик. А динозавры тут при чем?
- Динозавры там, под землей, в вечной мерзлоте. Они всегда «при чем», если покопаться в прошлом.
- Об этом тоже есть в книжке?
- В книжке больше о мамонтах,— пояснил Ливик.
- А о ненцах нет ли чего путного? Откуда они явились, от кого произошли?
- Все мы произошли от Адама и Евы. Что тут неясного?
- И динозавры?
- Динозавры вымерли...
- А евреи остались,— машинально выдохнул я.
- Вот и поезжай к вымершим. Вдруг живого динозавра откопаешь среди вечной мерзлоты.
- Мне эти «живые» уже два года не выправляют визу в загранку. Это мне — морскому журналисту! А я ведь тоже не прочь сходить в Канны — на фестиваль. Заглянуть на виллу Бельведер в Грассе, где Бунин написал «Жизнь Арсеньева», за что и получил Нобелевскую премию в тридцать третьем году. Или отчего не махнуть в соседнюю Ниццу — посмотреть знаменитые витражи Марка Шагала? А оттуда — небольшая ходка вдоль моря, километров на сто с лишком — и, пожалуйста, Монако, Монте-Карло, казино, и загребай шальные деньги в рулетку.
- А к северному сиянию — слабо? К белым медведям, в Арктику, можно сходить и без визы.
- Но не к африканским бабуинам...
- По бабам и в Африку нельзя. Се-ла-ви! Такая она, житуха!
- Полное пузо, но рваное ухо,— срифмовал я.

5

По прибытию в Заполярье, у входа в аэровокзал, на гулливеровом по размеру щите, выставленном для повышения самообразования туристов и аборигенов, мы прочитали—запомнили: «Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Север-

ным полярным кругом, в зоне распространения многолетней мерзлоты. Город покоится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, в 50 км от выхода в открытое море, в 1967 км к северу от Москвы и в 1448 км от Ленинграда».

На улице ни день, ни ночь, но именно та предвечерняя пора — очей очарованье, когда в портовом ресторане — стекляшке призывными маяками зажигаются огни.

— Вздрогнем? — Ливик Генделист щелкнул себя по кадыку.

Я пожал плечами:

— Если Родина прикажет, пацаны ответят — «есть!».

Но излишнюю инициативу за полярным кругом поостерегся проявлять. Для этой цели предназначались спутники.

За компанию с нами «тушка» закинула в моржовый край первого помощника капитана Якова Харламова, стармеха танкера «Юрмала», на морском сленге — «деда» Семена Огневецкого, старпома — «чифа» Алексея Рогычаева, который сразу после прибытия удалился по каким-то своим неотложным делам. В Мурманске нам предстояло встретиться с капитаном судна Владимиром Гальфериным. А где встретиться — не уточнялось. И без того координаты были ясны. Порт. Административное здание морского пароходства. Второй этаж, а там — заведение известного типа, где питательные мясные калории неразлучны с предательскими-алкогольными.

Здесь и состоялась наша встреча.

Войдя в ресторанный зал, я чуть ли не обомлел. Полярная ночь! Сплошняком — черные форменки моряков торгового флота, а промеж них ни одного привлекательного цветового пятна, платяца что ли. Лицом к входной двери, у окна, потолок подпирает юбилейный вождь — картина из учебников для начальной школы — Ленин на броневике. В черном зале и Ленин, разумеется, тоже в черном. Стоит он в черном пальто, развивающемся под штормовым ветром, на крыше черного броневика. Левая рука цепко зажимает черную кепку. Правая тычет пальцем в небо, указывает впечатлительным клиентам направление. Внизу печатными буквами выведено: «Правильным путем идете, товарищи!».

Что ж, Мурманск — не Рио де Жанейро. Да и не Рига — маленький Париж янтарного края. Такого избыточного изобилия черного цвета у нас даже в Интерклубе не встретишь. Кругом — пестрота от инвалютных нарядов девушек с факультета иностранных языков. А тут черные мундиры, черные тужурки, черные галстуки. Орнамент — черные усики или черные шкиперские бороды. В ярком свете люстры — черный дым свирепых кубинских сигарет «Портагос», либо трубок кустарного производства от ленинградского мастера Петрова, благоухающих амстердамской «Амфорой». Смесь запахов, кулинарных и табачных, достойная плодового пера Хемингуэя. И все это великолепие пропитано притягательными водочными парами. Так что эффект полный: еще не подойдя к стойке, испытываешь неистребимое желание напиться.

Впрочем, стойки и не было в наличии. Была эстрада на четыре стула и пюпитра. Но без оркестра. Были официантки. Две голенастые подавальщицы, в белых фартучках на черных, в обтяжку, платьях и кружевных накрахмаленных коронах на завитых головках.

Были столики. Десятка два-три. Все заняты, кроме первого. Первый стоял напротив входной двери, под портретом Ильича, указывающим нам верный путь. По негласным правилам, как мне думается, за этим столиком набираться до кондиции возбранялось. Поэтому сознательные люди и сторонились его, оставляя свободным для малопьющих. В Мурманске малопьющих не было. Это и вызвало к нам повышенный интерес.

Сначала, как положено, со стороны официантки Машеньки, в черном платье в обтяжку и белом фартучке.

— Что будем пить? Что будем есть?

Она очень удивилась, когда, заказав обед, мы снарядили под него всего один графинчик коньяка, грамм по сто на трезвого человека. Под кофе, так сказать, для мажору.

Потом интерес к нам переключался к двум длинноногим девушкам, явившимся неведомо откуда, возможно, из кухни — и сразу попросившимся под наше крылышко, будто мы из подвида тех залетных птиц, что носят золотые яйца. Яйца же у нас были обычные, и не для заклада в ломбард. Плеснув в их рюмки, я даже начал было читать одной из девушек стихи собственного приготовления: «А я тебя еще не встретил, не знаю, что тому виной, порывистая, словно ветер, еще не узнавшая мной...».

Ливик Генделист тоже попытался намекнуть, что именно эту девушку он не встретил. Но особенно не выставлялся. Ситуация у него, в отличие от меня, была сложная: не повыпендриваешься, будучи рядовым коком, в окружении капитана, первого помощника и стармеха. А комсоставу, при подчиненном коке и неподчиненном «третьем глазе — журналисте», тоже не до заигрываний с прекрасными незнакомками. Так что девушки могли бы для своих прогулок подалее выбрать закоулок, здесь — «непрохонже».

Потом интерес к нам принял совсем неожиданную форму. И выразил его матерый мореход преклонных арктических лет. Местный, массивный, как шкаф, капитан. И столь же малоподвижный. Направляясь в туалет по малой нужде своего просоленного в штормах организма, он, качнувшись, остановился у нашего столика. Развернулся всем корпусом и, указав пальцем на капитана Гальферина, недоуменно провозгласил: «Еврей — моряк!» Подумал секунду, обкатывая во рту вкусовое слово. И снова, с тем же недоумением: «Еврей — моряк!».

И — тишина! Тишина, таящая взрывоопасную искру отчуждения в участвовавших табачных выхлопах под потолком. «Еврей — моряк!» Подумаешь! Ну и что в том такого? Чем тебе не по нутру, что еврей? Отчего тебя воротит? Видеть в нем равного себе — вот что тебе не по душе. Оттого и остановился. Оттого и пальцем показал, недоумевающая. Как это так? Еврей, и не завмаг, не продавец газированной воды. Моряк! А какой из еврея моряк, когда он еврей?

Во мне мгновенно сработала боксерская реакция. И я, резко встав во весь свой невеликий рост, четко выложил:

— Заткнись, антисемитская морда!

И — еще более глубокая тишина. Теперь уже полнейшая тишина и за нашим столиком.

Что такое капитан на судне? Это фельдмаршал, это министр, это непререкаемый хозяин твоей жизни.

Матерый мореход преклонных арктических лет стал жадно хватать воздух, будто сердце его зашкаливало. В глазах высветилось непонимание, переходящее в помрачение рассудка: «Как это так? Ему? Ему — капитану! Ему — морскому волку! И кто? «Салага» двадцати с лишним лет?» Вот это — «кто?» — и перебороло его открытое желание разорвать меня на части, уступило место — страху. «Кто?» — читалось в его глазах, когда он медленно поворачивался и, тяжело неся себя, двинулся в туалет по малой — теперь и большой — нужде своего просоленного в штормах организма.

Девушки, напросившиеся к нам в компанию, как-то незаметно слиняли. Недочитанные стихи, типа — «Еще не узнавшая, где ты? Как долго мне осталось ждать?» — выветрились из головы.

Мы выпили по коньяку и закусили спрессованным в пахучую табачную лепешку воздухом.

Напряжение в ресторанном зале росло. Представьте себе, вы в питейном заведении, и нигде вокруг не слышно ни заздравных тостов, ни бульканья разливных пив-

ных бутылок, ни постукивания вилки, гоняющейся по дну тарелки за маринованным грибочком. И тут к нам подошел рослый, под два метра, моряк с лычками старпома. И обратился напрямую ко мне, как бы не замечая моих спутников:

— Почему ты оскорбил моего капитана?

Я опять встал в полный рост, отнюдь не впечатляющий: метр, шестьдесят три см. Доставал всего лишь до плеча своего противника. И машинально, уподобляясь одесским предкам, ответил через стол вопросом на вопрос:

— А почему он оскорбил моего капитана?

Капитан Гальферин поднял на меня глаза. И дал мне прочитать в них нечто такое, что мог понять именно я, и никто другой. Я и понял. Но сказать, что понял, был не вправе никому, и в первую очередь старпому с «вражеского» судна. А он, видя мою непримиримость и не постигая умом, что за «высшая воля» диктует мне столь наглое поведение, предложил выяснить отношения наедине — за его столиком.

Провожаемый, как в покойницкую, я не подавал виду, что вмазался в пренеприятную историю. Чем она способна закончиться при пьяных разборках? Это одному черту известно. Но при любом раскладе, со смертельным исходом, либо с элементарным мордобитием, на повестку дня выставлено: быть или не быть. Моя козырная карта — еврейская честь, его — виза моряка заграничавания.

Мы угнездились за столиком.

— Степан Антонович, — представился мурманский моряк.

— Ефим Аронович, — ответил я.

— Я здесь — по делу. В море, без малого, двадцать лет хожу.

— Мили на километры мерим?

— Что?

Насмешка «западника» смутила арктического волка.

— Чиф! — повысив голос, старпом назвал свою должность на морской манер.

— Специальный корреспондент газеты «Водный транспорт», журналов «Морской флот» и «Вымпел».

В последнюю секунду меня осенило — на чем играть. Моя козырная карта для партнера по игре в «быть или не быть», разумеется, не в том, что я еврей, и не в том, что я из «Латвийского моряка». Убийственно для него могут прозвучать только центральные московские издания «Водный транспорт», «Морской флот», «Вымпел», где я и впрямь довольно часто печатался.

По беспокойству, промелькнувшему в расширенных от гнева зрачках Степана Антоновича, я увидел: попал в точку. Больше всего «загранщики» остерегаются встреч в поддатом состоянии с вьедливыми журналистами: слово за слово, и мордой сунешься по пьянке в фельетон, выпадешь в бичи, как в осадок, а то и визы лишишься.

— Машенька! — позвал Степан Антонович пробегающую мимо официантку. — Коньяка!

С некоторым изумлением Машенька посмотрела на него, человека, по всем алкогольным статьям, скорее водочного направления в искусстве веселия на Руси, но, припомнив, что и мы не портвейн заказывали, кивнула:

— Несу! — и поспешила в буфет.

За нашим столом тягостно затягивалась минута молчания.

На исходе минуты появилась Машенька. С бутылкой.

— Вот, Степан Антонович... Что заказывали...

Старпом разлил по граненым стаканам: себе и мне.

— Будем! — сказал.

— Будем! — ответил я.

В жизни я еще никогда не выпивал разом полный стакан коньяка. Мог опростоволоситься. Не допить. Поперхнуться. Слезы от избытка горячительных градусов

пролить. Но честь еврейская была дороже. Выпил. Посмотрел на старпома. Он посмотрел на меня. Потом на Машеньку, которая, будто в ожидании второго отделения концерта, не отходила от нас.

— Машенька,— сказал старпом.— Повторить!

— Несу!

Еще одна минута тягостного молчания медленно разменивалась на секунды за нашим столиком. И вдруг я осознал: эта тишина, как заразная болезнь, передалась всем зрителям ресторанный представления. Причем, с той же непостижимой силой, как прежде, когда было произнесено: «Еврей — моряк!».

Автор этого высказывания, кстати, так и не возвращался. За него «горбатился на швартовке» Степан Антонович.

— По второй! — сказал он, и опять разлил поллитровку. Опять на два стакана, вровень, до краев.— Будем!

— Будем! — ответил я, чувствуя всей душой, что мой питьевой подвиг никто не оценит, и более того, впоследствии «никто не узнает, где могила моя» — ведь предстояло подняться на танкер «Юрмала» не у причала, по переходному мостику, а в открытом море, по свисающему за борт шторм-трапу.

Выпив второй стакан, я услышал:

— Ты свой парень!

Я был еще трезвый. Я еще трезво ответил:

— Я свой! — и повернулся к официантке: — Машенька!

Машенька тут же откликнулась:

— Несу!

Третью бутылку по стаканам разливал я. И ни капли не пролил.

— Будем?

— Будем! — ответил Степан Антонович.— А о чем ты будешь писать в свою газету? Про нашу встречу будешь?

— Про нашу встречу не буду.

— Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпили — поговорили. А о чем будешь? Про моего капитана будешь?

— Не буду про твоего капитана!

— Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпил — поговорил, заснул небось в сортире. А о чем будешь?

— Про своего капитана писать буду.

— Правильно, Ефим Аронович, пиши про своего капитана. А чем он знаменит?

— Напишу — узнаешь.

— Правильно, Ефим Аронович! Нам не к спеху. Пусть только не обижаются на «еврей-моряк».

— А он и не еврей! Еврей — наш «дед» Семен Огневецкий.

— Что?

Тайна капитана Гальферина заключалась в том, что, располагая специфической еврейской внешностью, он был русским. И не только по паспорту, но и по воспитанию. (Это я знал от его друга детства Изя Манова, с кем прежде работал на заводе №85 ГВФ.) Но еврейская внешность досталась капитану Гальферину не случайно. Наследственно перешла к Владимиру Александровичу внешность еврейская.

Его родителей расстреляли в Бабьем Яру. 29 сентября 1941 года.

Он же в тот день родился заново.

Из очереди евреев, идущих по киевским улицам к смерти, его вытолкнул Изя Манов.

Добрые люди подхватили беглеца, спрятали, уберегли от доносчиков. А потом и усыновили. И он вырос в русской семье, приняв национальность спасителей. Да и как

могло быть иначе в оккупированном Киеве? Скажи кому ненароком, что спрячешь еврейского ребенка, и сам окажешься в могильной яме. Вот и не сказали, вот и вырастили, отдали в мореходку и вывели в люди. И совсем не для того, чтобы какой-то другой русский человек, демонстративно указывая на него пальцем, говорил во всеуслышанье: «Еврей — моряк!»

Не для того...

6

На причале, у выхода из ресторана-стекляшки, я оказался в довольно подпитом состоянии, и поначалу даже не заметил, что остался один. Где мои спутники? — задумался я. И вспомнил: когда в гардеробе облачался в утепленное пальто моего брата Бори и брал на плечо походную сумку с вещами, капитан Гальферин сказал... Что? Нечто вроде:

— Мы должны оформить портовую декларацию, судовые документы. Скоро вернемся.

Как долго двигалось это «скоро» трудно было понять. И не с чем было соразмерить.

Ни день, ни ночь. Электрический свет фонарей. Ритмичный плеск воды. Пологие волны медленно, словно при рапидной съемке, накатывались на каменную кладку. Захлестывали ее, ничем не огражденную от моря, и острыми язычками старательно тянулись к какому-то странному сооружению, фанерно-плакатного типа — о двух металлических ногах, с панорамой города по нижнему краю и белыми пятнами, изображающими северное сияние поверху. В центре, чуть ниже Ленинского профиля, скопированного с Юбилейной медали, либо с ее близняшки-монеты рублевого достоинства, шел крупногабаритный текст, своеобразная памятка для въедливых туристов.

«Пишем?» — мелькнуло в мозгу.

«Пишем! — откликнулось на хмельную нотку под Ливика Генделиста — На первую полосу!».

И я вытащил из кармана блокнотик и шариковую ручку.

Вот эта запись.

«Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Известный географ Федор Литке, побывавший в Кольском заливе летом 1822 года, писал, что его берега в южной части покрыты «березовыми и еловыми рощами». Город возник во время Первой мировой войны. Черное и Балтийское моря были заблокированы неприятелем. Чтобы иметь возможность бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте, Россия спешно строила железную дорогу от Петрозаводска на Мурман и одновременно порт на незамерзающем Кольском заливе.

Летом рабочие жили прямо под открытым небом, зимой, несмотря на заполярную стужу, в хлипких, насквозь продуваемых бараках. В пищу получали тухлую солонину и непропеченный хлеб из негодной муки. Страдали цингой. Скалистую землю долбили киркой и лопатой. «Мурманка», как называли Мурманскую железную дорогу, в буквальном смысле слова уложена на тела людей, погибших от непосильного труда, голода, холода и болезней.

Вот поэтому, когда здесь прозвучали ленинские слова — «мы не рабы!», весь народ в едином порыве избрал социалистический путь переустройства общества и пошел в революцию».

Пхай-пхай! С каллиграфией, наконец, справился. Буковки туда-сюда, будто под градусом, но смотрятся-читаются. Пальцы заоченели. В мозгах сумбур. Накатилось тягостное ощущение внезапного сиротства. Торчишь, как гвоздь, на берегу коварного

Кольского залива. Столкнуть тебя, как говорится, «за борт» — шлевое дело. В особенности для тех, кому море по колено. После принятия на грудь трех стаканов коньяка, море и мне глубоким показаться не должно. Но я и по пьяной лавочке помнил предостережения старых разбойников пера из нашей газеты: в арктической купели долго не продержишься — пять минут до разрыва сердца. Сердцу же моему не разрыва, а любви хотелось.

— А я тебя еще не встретил! — вырвалось недочитанное в ресторане стихотворение.

— Кого? — вдруг послышалось сзади, из фойе.

Я обернулся. За распахнутой стекляшкой-дверью клубилась беличья шубка. Над ней беличья шапка внушительных размеров.

— Вы ко мне? — спросил я.

Шубка ответила:

— За вами.

— Кто послал?

— Капитан Гальферин. Он вас на пирсе ищет — не доищется. За нами буксир пришел. А вы — в отлучке.

— Не в отлучке, — я машинально воспротивился явной несуразице. — Я за дверью.

— Не за той дверью, — пояснила мне девчужка. — Вы не в ту дверь тиснулись.

— Все двери одинаковы, — пожал я плечами. — А как вас зовут?

— Янат.

— Таня!

— Почему Таня?

— Справа налево будет — Таня.

— Вы читаете справа налево?

— Подражаю Леонардо да Винчи, с его «зеркальным» письмом. Но только, когда вижу красивых девушек.

— Тех, кого еще не встретили?

— Именно. В их присутствии у меня глаза справа налево скашиваются.

— И ходите, куда глаза глядят — налево?

— Сначала я девушкам акростихи пишу.

— А это что такое?

— Вот встречу и объясню.

— Тогда поторапливайтесь.

— А где свиданка?

— На борту танкера «Юрмала». Свидимся — не заблудимся. Акростих с вас! Я вестовая и дневальная по камбузу.

— В подручных, выходит, у Ливика Генделиста?

— Пойдем, пойдем... Там разберемся...

Буксир-тихоход, забитый пассажирами, как городской автобус в часы пик, развозил моряков по судам, стоящим на рейде. На нем мы и задымили в запредельную даль, призывно подмигивающую звездочками навигационных огней.

«В тумане скрылась милая Одесса», а если не по песне, то портовой Мурманск. На горизонте проглядывались обводы танкера «Юрмала». Он был из породы «двадцатитысячников» — двадцать тысяч тонн водоизмещением, таких как «Алуксне», «ИмантСудмалис», полученных Латвийским морским пароходством относительно недавно. Приветливым ориентиром светился фонарь на клотике. Желтыми глазами выставлялись иллюминаторы. Мокрая веревочная лестница с деревянными плашками-перекладинами свисала за бортом, над которым приплясывал от озноба вахтенный в объемистом бушлате.

Мое внимание зациклилось на шторм-трапе. И мало-помалу озноб палубного матроса передался мне. «Интересно, какая тут глубина?» Впрочем, утопленнику без разницы: в Марианской впадине он захлебнулся, или в бассейне для оздоровительных процедур. «Свалишься в арктическую воду и каюк: пять минут до разрыва сердца», — опять вспомнились наставления излишне серьезных людей из нашей редакции. А как тут сердцу не разорваться, если и впрямь грозит ухнуть к рыбам на дно. Коварный сюрприз состоял в том, что буксир и не думал швартоваться к теплоходу. Он по-бычьи тыкал автомобильной крышкой, установленной на носу для смягчения удара, в покатый борт теплохода, затем по инерции отваливал на несколько метров назад, чтобы без промедления опять двинуться на приступ. И так с постоянством клинического идиота. Взад-вперед! Взад-вперед!

Как я усмотрел по действиям попутчиков, прыгать на шторм-трап нужно было со звериной ловкостью и непременно в промежуток между тычком и отходом нашего мелкого суденышка.

Показать страх мне, морскому журналисту, было неприлично. Но я понимал, что выпитый коньяк ведет во мне свою подпольную и, надо полагать, сволочную работу. Моя боксерская реакция — единственная спасительница в столь конфузный момент — способна подвести. Но что делать? Вместо меня никто не прыгнет. Ни капитан Гальферин, ни первый помощник Харламов, ни стармех Огневецкий, ни Ливик Генделист. Пока я «сообщал об этом на одного», они — первый, второй, третий — и принялись прыгать. Зрелище выразительное: реальность, а смотрится все, как на черно-белом экране в продуваемом сквозняком деревенском кинотеатре. Я бы добавил еще: в эпоху «Великого немого».

В серой полумгле вырастает металлический борт теплохода. Легкий тычок автомобильной крышки, пружинистый отход кормой, вода вскипает пузырьками пены на расстоянии метра между буксиром и танкером. Теперь не зевать. Прыжок. Зацеп. Вертикальное перемещение рук-ног. Довольное: «Оки-доки!» И голос вахтенного: «Следующий!»

Следующим был я. Во мне три стакана коньяка. На мне теплое, но широковатое, следует признаться, пальто брата Бори, на плече сумка с вещами. Я и прыгнул. В нужный момент. По велению боксерской реакции. Она же меня и подвела, подлая. Подвела в тот, совсем уже «не нужный момент», когда я находился в воздухе, между носом буксира и бортом «Юрмалы». Должно быть, я оттолкнулся от буксира излишне сильно, и в следующую секунду моя сумка, подчиняясь инерции, соскользнула с плеча. «Там фотоаппарат!» — ахнуло в мозгах. И я инстинктивно прихватил свой багаж правой рукой. Дальше? Дальше я, все еще находясь в воздухе, осознал, что пропал. Свободной у меня оставалась только левая клешня, и если я не ухвачусь за веревочную лестницу, то питательный корм рыбам обеспечен. И надо же, ухватился. Причем так намертво, что подтянул свое шестидесятикилограммовое тело на одной левой руке, чего в обычной жизни и представить себе не мог, почувствовал опору под ногами, укрепился на перекладине, перекинул лямку сумки через голову и тяжело вскарабкался на судно.

Долго ли находился я в полете между буксиром и танкером? Две-три секунды? Но то, что рассказано, помню до мелочей. Странно, но психологически объяснимо. И как памятно! Хоть и не птица, а видел будто бы все с птичьего полета. Стоит закрыть глаза, и сейчас все это представляется чередой черно-белых кадров — «лихой кинчик!».

Как могло вместиться в мою бедную головушку такое количество мыслей и переживаний за мельчайший отрезок времени? Не мне судить. Говорят, что в момент клинической смерти перед человеком таким же незатейливым образом проходит кинохроника всей его жизни. Моя кинохроника содержит всего несколько кадров — прыжок над морем, с буксира на борт «Юрмалы». И снималась без всякой клиниче-

ской смерти самой выверенной оптикой — глазом журналиста, который полагал себя в будущем и писателем.

7

Проснулся я в каюте с ощущением невыполненного долга. Какого?
Акростих! — осенило.

По выверенной привычке, очнувшись после сна, я не выскочил из постели, поэтому и восстановил тут же во всех мелочах вчерашний день и встречу с прекрасной незнакомкой Янат — Таней, которой пообещал стихи.

Пообещал — сделай! Сделаешь — вручишь. Вручишь... Впрочем, не стану строить планы на будущее. Мы и сегодня еще не разобрались в ситуации. Поначалу, конечно, следует осмотреться в каюте. Две койки, две тумбочки, один иллюминатор на противоположной стене. Сбоку от него фотка, на ней какой-то чеканный профиль. Ни дать, ни взять, Ливик Генделист: вытянутый нос, заостренный подбородок. Но странно, в шлеме со шпилем. Дикие дивности с этим Генделистом. Он и не он вовсе. Артист! Ну, конечно, играл, наверное, в каком-нибудь самодеятельном театре латышского богатыря Лачплечиса. Вот и отчеканили на память.

Память... Моя так устроена, что если что-то ее зацепит, то не успокоюсь, пока не вспомню. Фотография и зацепила. Ливик на ней, не Ливик, но, определенно, где-то я видел эту героическую мордоворенцию. Но где? Точно, в редакции! А еще точнее, в фотолаборатории, у Гунара Ливена. Демонстрируя фотку, он говорил: «Переснял в этнографическом музее. По просьбе одного моряка с «Юрмалы». Парень утверждал, что на чеканке не кто-нибудь, а прямой его предок Лив — Отважное Сердце. По прозвищу «Лев». По преданию, он правил прибрежными территориями Рижского залива в тринадцатом веке».

Правил ли могучий Лив — Отважное Сердце прибрежными территориями, либо всего лишь рыболовецкой артелью, не чуравшейся и пиратского промысла, это одному Богу известно. Но чего от латвийского помора не отнимешь, внешне он здорово смахивает на Ливика Генделиста, словно одна мама их родила. Правда, у моего приятеля Ливика, если порыться в его семейных тайнах, укрываемых от отдела кадров, мама — чистых еврейских кровей, а вот у его предка вряд ли. Хотя кто их знает, этих доисторических мам. Самая доисторическая — Ева. А ее, хотя она вообще по национальности никем не значилась, почему-то считают еврейкой. Но вернемся из райского сада на песчаные дюны янтарного края, к древнему воителю. От кого ему досталась такая кликуха «Лев»? Может быть, он получил ее не в честь царя зверей, чуждого флоре Рижского залива, а подлинно во славу собственного отважного сердца? Секретов не держим: «сердце» на иврите созвучно со словом «лев» на русском языке. Вот и гадай, кто дал герою давнего эпоса прозвище: латыш, русский, немец или еврей? По всему видать, без евреев здесь не обошлось. А как они добрались до Юрмалы в ту глухую пору, когда еще электричка из Риги на взморье не ходила, это не моего ума дело. И без того столько вокруг несуразностей, что диву даешься. Зачем мне лишняя путаница в голове? Лучше стишок для девушки сочиню, просто так, для освежения мозгов да взаимного удовольствия. Где мои рабочие инструменты? Вот мои рабочие инструменты! Блокнотик кладем на тумбочку, раскрываем на чистой странице и давай выстраивать именные буковки сверху вниз.

Я
Н
А
Т

Буковки выстроил, архитектор-затейник. Пора и вдохновением обрасти, рвануть

по строчкам, как по кочкам. Вдохновение — верное средство против похмелья. Проверено: мин нет! Итак? Пишем? Пишем!

Я... Я встретил вас и все былое...

Э, нет, так не годится.

Зайдем с другой буквы. Н... Никогда я не был на Босфоре...

Черт! Кто это втемяшил мне в башку, что вдохновение — верное средство против похмелья?

Я заглянул в тумбочку, стоящую у койки. Обнаружил на верхней полке бутылочку из-под йода, грамм на пятьдесят, ярлыком к ней была прицеплена бумажка с надписью: «Лекарственная настойка. Перед употреблением не взбалтывать. Градусов не прибавит». Отодрал резиновую пробочку, приняохался. Не йод, разумеется, оставил мне Ливик Генделист. А что? Это придержим в секрете, так как на судне после поднятия якоря — «сухой закон».

Якорь подняли — это чувствовалось по усиливающейся качке и рокоту двигателей.

Якорь подняли — отныне на борту пить нельзя.

Нельзя, так нельзя! Но, честно признаться, хочется. К тому же вдохновению «сухой закон» не писан. Никак не раскачается оно, поддатое со вчерашнего вечера вдохновение, пока температурку не поднимет до сорока. Глоток, второй. Температурка и подскочила. Итак? Пишем? Пишем!

Я...

Я в поздний час вас встретил на причале.

Н...

Ночь. Ресторан. Фонарь дымит свечой.

А...

Ассолью вас хотел назвать вначале,

Т...

Таинственную Гриновской мечтой.

Ну, и хотел. А что дальше? Где логическое завершение? Акростих есть, а стихотворения не видно.

Дальше? А что, если дальше дадим акростих на ее обратное имя? Будет, действительно, оригинально: Янат — Таня.

Т

А

Н

Я

Т... Теперь я знаю, вы звались Татьяной...

Нет! Попытка вторая.

Т...

Теперь мне ведомо, Янат вы и Татьяна.

А...

Астральной чайкою парите под луной.

Н...

Навечно ваш! В каких бы ни был странах,

Я...

Я с вами мысленно, вы мысленно со мной.



Владимир Трусов

(г. Мончегорск Мурманской области)



ИРОНИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ СОЖАЛЕНИЯ:

Тетралогия Алексея Яшина

(Художественно-публицистическая повесть)

Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

*Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющих отношения к ужину при свечах...*

Иосиф Бродский «Развивая Платона»

Трое безумцев у масляной лампы...

В. Иванов «Русь изначальная»

*Итак, в будущем, которое сестра прошлого, я, может
быть, снова увижу себя сидящим здесь, как сейчас,
но только глазами того, кем я буду тогда.*

Джеймс Джойс «Улисс». Часть II. Эпизод 9

НЕКОТОРАЯ, ЯВНО НЕОБХОДИМАЯ К ОСНОВНОМУ ПОВЕСТВОВАНИЮ, ПРЕАМБУЛА

Ну-с, дамы и господа мои, сиречь почтеннейшая публика, если угодно, или же, для поборников сугубой терминологической точности и противников малейшего намека на куртуазность, просто читатели, начнем пожалуй, помолясь. А с чего начнем, собственно? Правильно: с выбора повествовательного стиля, манеры изложения, дабы, таковой неуклонно следуя, соблюсти стройность мысли и логику всего действия, «не меняя коней на переправе», не уклоняясь от избранной темы, не блуждая попусту в нагроможденных рассуждениях. Мне, откровенно говоря, в данном конкретном случае по сердцу было бы придать всему, что будет приведено ниже, явные свойства литературного классицизма. Но не в части, касающейся античных аналогий, а следуя принципу триединства: времени, места и неразрывности действия. Так оно вернее получится, ибо читателю полезнее следить не за динамикой мизансцен, хотя от сего процесса и не избавиться совсем, но за самими диалогами персонажей, в коих вся «изюминка» и сокрыта. Что? *Пиэсу* предлагаете состряпать? Ну-у, сие возможно и заманчиво было бы, однако... Однако не сейчас, ибо... Ибо никогда не пробовал аз грешный сил своих в драматургии, да и драматургии-то в моих записках никакой по сути и нет. Ну, да бог с ней. Давайте уже более предметно...

Скажите мне, читатели разлюбезные, о чем могут говорить-беседовать три закадычных друга, расположившиеся на кухне деревенского старинного дома, куда заглянули в общем-то ненадолго и по конкретному делу, но, застигнутые непогодой, а именно грозой нешуточной и ветерком почитай ураганным, вынужденные пережить стихию в сущей праздности. Вот только не нужно совсем пытаться аналогии строить, вспоминая пресловутую, препошлейшую *кинуху* от всем известного *квартила на одну букву* (гусары, ма-а-а-лчать!!!, поскольку на «И»), да-да, эту, повествующую нам-де о чем говорят друг с другом представители формально сильного пола. Я вас сразу должен уведомить, ибо возможно кто-то не в курсе дела, что никогда и ничего подобного диалогам в упомянутой *картине* настоящие, нормальные, мужчины не говорят. Никогда, повторяю, и ничего похожего.* Да и женщины, скорее всего тоже... Разве пристало перемывать в компании косточки своих любезных? По настоящему любимых... Да ни за что и никогда. И ни с кем. А вот диалоги персонажей (не героев же?) кинофильма — это речи неких обитателей отдельно взятого коммунального пространства. Не больше и не меньше. И пусть наши дорогие женщины на свой счет не сумлеваются. Они же настоящие женщины! И сразу вас упреждаю, что *мои действующие лица* (едва ли даже в потенции герои) беседуют об иных совершенно материях.

Отчего так? Да оттого, что автор, к вашим услугам! — в жизни побывал во многих мужеских компаниях и просто коллективах и нигде подобной галиматши, как у квартиречиков, не слышивал. Иной раз мужики насчет сплетен, и другой раз, покруче любых дам будут. И болтануть зазря не задержатся, и соврать-присочинить, но... Но старинный, накрепко и умело рубленый когда-то пятистенок, в котором персонажи мои находиться имеют, к легкомыслию вовсе не располагает, хотя и не навевает мрачных аллюзий и тревожных ощущений; ведь не шотландский замок каменный, неудобный и абсолютный неумолимый в своем безразличии ко всему на свете. Этот домина деревянный. А древо есть жизнь. А вот о «камне жизни» едва ли кто-то слышивал.

Итак, трое старых друзей коротают время в беседе, переживая непогодь, рухнувшую неожиданно-негаданно на окрестные горизонты. До города неблизко, да и дорожки того, считай фронтовые... О чем же говорят мужчины? Господи помилуй, да о чем же еще судачить, как не о русской литературе? Разве можно вообще чему-либо еще уделять внимание, кроме литературы вообще и нашей родной в частности. Что? История-география? Хорошо. Давайте присовокупим еще театр... ах, да, *пьеса* ведь тоже жанр литературный. Все. Круг очерчен. Теперь конкретика из-под пера пойдет.

Некоторое время назад один из наших собеседников, будучи недвусмысленно и вполне профессионально причастен к литературному труду, и сам прочел, и друзьям рекомендовал *тетралогия* одного уважаемого сочинителя. Четыре весьма достойных романа, что связаны местом действия, главными героями и охватывают обширный период жизни от наших дней и лет до полста в глубину. Читатели же наши, поколенно разновозрастные, тем не менее также в той или иной степени являлись *свидетелями эпохи*, и потому содержание тетралогии воспринимали очень живо, а порой даже болезненно и близко к сердцу. Возможно у кого-нибудь преамбула моя также интерес вызовет, а потому не стану более тянуть резину. Итак, старый, крепкий еще пятистенок на отшибе глухой, в лесу буреломном затерянной, деревни; на дворе жуткая непогодь, гроза и ураганный почти ветродуй, а в доме трое друзей, ведущих неторопливую беседу. Кажется и все...

* Особенно дико в расплодившихся «кинухах» такого рода, что именуются «говорящими головами», смотрится стол без бутылок и никакого курева! — Во исполнение очередной кампании борьбы против чего следует...— Прим. ред.

...Да ведь не все... Долженствует вас, о почтеннейшие читатели, упредить, что, невзирая на посконно-домотканную несхожесть с замками европейскими, дом этот свою чудинку все-таки имел. Какую, спросите? Пустяки, конечно, но... к примеру, причудится может, что старинный предмет какой вдруг интерьер украсит, или вообще убранство комнаты изменится вдруг, причем никакой тревоги у присутствующих не вызвав... Только удивление, и то потом, когда наваждение пройдет... Или помстится ни с того, ни сего, присутствующим, что время за окном иное, и год, и месяц, что они вроде как и не они натурально вовсе, и долженствует им вести себя ответственнее, ибо эпоха обязывает, а опасность недалече... А то и вовсе попросту пахнет на кухне пирогами: с пылу, с жару... Впрочем, может все и обойдется. И стоит себе домина, не чудит, не тревожит никого, космос свой нынешним людям не приоткрывая ни в малейшей степени. Словом, ничего страшного, а только мало ли что... Ладно, дамы и господа, бывшие граждане и товарищи. Милости прошу в избу, а то ведь недолго и простыть на грозе-урагане!

**ПЕСНЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОЙ МОЛОДОСТИ,
ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
(«ЗАТО МЫ ДЕЛАЛИ РАКЕТЫ. ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ»*)**

— Итак,— черноволосый, жилистый, длинный, откинувшись на спинку кресла и вытянув весьма «продолжительные» ноги в тапках-шлепанцах, довольно агрессивно глянул на отсутствующих.— Итак, коллеги, давайте-ка, порядка для, оконтурим диапазон обсуждения и одновременно выясним что-нибудь насчет критериев. Системный подход, исповедуемый героями тетралогии, знаете ли, никому не вредил еще; опять-таки мы же с вами некоторым образом и методисты, хоть и стихийные, как было однажды сказано «диалектики-практики». Сам господь велел, значит, бежать обывательских судов-пересудов. Есть возражения?

Присутствующие, они же коллеги и собеседники, не возражали, абсолютно, впрочем, по-разному свое согласие обозначив. Один, примостившийся также в кресле напротив длинного, полный ему антипод, грузноватый, небольшого росточка, с быстро стреляющими по сторонам хитроватыми глазками, неопределенно, даже недоверчиво пожалуй, хмыкнул, одновременно кивнув, а третий, за столом обосновавшийся, лишь рукой махнул: мол, валяй, излагай, и потянулся к пузатому заварочному чайнику, водруженному на вполне приличный еще, хотя и слегка помятый местами, солидный возрастом, но от души начищенный медный самовар. Завладев нужным предметом, он стал неспешно разливать заварку по стоявшим на столе классическим граненым стаканам в мельхиоровых, что называются железнодорожными, подстаканниках. Был он самым молодым из троицы, и, очевидно, мера крепости чая для каждого из приятелей была ему хорошо знакома. Доливая стаканы доверху кипятком из самовара, он деловито пошмыгивал севрюжьем своим носом, морщился, чуть приворачивая краник, когда отдельные горячие капли от черезчур сильной струи брызгали ему на руку, и, закончив с процедурой, вновь принял позу примерного школьника, сложив руки на столе, точно за партой сидючи. Он и был, собственно, недавний школьник, а ныне студент-заочник, полгода как дембельнувшийся, уже отравивший модную сейчас густую, темную шевелюру почти до плеч и украсивший левое плечо

* Алексей Яшин. Зато мы делали ракеты: Воспоминание о будущем (седьмая книга рассказов Николая Андреевича): Роман-новеллино / Предисл. Л. В. Ханбекова: Академия российской литературы.— М.: «Московский Парнас», 2015.— 441 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). В электронной форме на сайте www.pz.tula.ru — Прим. ред.

сложным орнаментом цветной татуировки, выглядывавшим из короткого рукава порядком застиранной, видимо очень любимой хозяином, темно-синей футболки.

— Договорились,— длинный заложил руки за голову и с хрустом потянулся.— А контуры, господа мои, выражаясь художественно, таковы, что с одной стороны, со времен Святополка Окаянного и его воспоследователей,— Изяслава Ярославича и сына его, тоже Святополка, счетом второго, русские «западники», ныне по совместительству и либералы записные, рекут примерно следующее и весьма уничижительное: мол, мы с вами и нам подобные, то есть патриоты, склонны считать, что-де, как это у братьев Вайнеров в «Евангелии от палача»: *«порох выдумали не китайцы, а русский мастеровой Василий Порохов, а компасом пользовались во времена князя Игоря, и паровоз у Ползунова и отца-сына Черепановых пополз и запыхтел раньше чем у Фултона**, а Маркони-гад спер радиоприемник у Попова... а электролампочками Париж освещался Яблочковым; лучшие же в мире яблочки вывел Мичурин, которого шпионы-вейсманисты убили, столкнув с выращенной им клюквы»... Ну и далее в том же духе: дескать, куда лезем со свиным рылом в ряд забугорный калашный?! На что в совсем еще недавнем прошлом отыскал прекрасный контраргумент незабвенный наш и многими качествами замечательный Юрий Визбор; да, тот самый, чьи строки в названии романа положены: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей!».

Иронично? Без сомнения, но... гордость определенная за иронией присутствует, что тоже бесспорно. А поборники америк-европ, либерасты толерастные, извините за выражение, не унимаются, вопят, дескать, что толку от ракет, когда народу жрать нечего; социалка, образование, медицина не финансируются, жилкомхоз на ладан дышит, пенсионеры... обманутые дольщики... (это они уже эпохи в запальчивости путают) сироты... инвалиды... Лучше бы вместо ракет, условно говоря, колбасы и прочих благ насущных на эту сумму! Но и у оппонентов резоны солидные, ибо коли живешь в империи, как бы она не аттестовалась и какую бы общественно-политическую формацию не утверждала, быть ей по статусу геополитическим игроком с соответствующей силовой атрибутикой, дабы побаивались и уважали, иначе растащат на куски, сырьевым придатком сделав, что и пытались воплотить в реальность в «лихие девяностые» недалекие и незадачливые младореформаторы, шестерки дельцов из-за океана, элементы компрадорского государства насаждая. И если не будет ракет, то и колбас всевозможных не будет, вообще никаких не останется, поэтому оружие оружием, геополитика геополитикой, а жратва жратвой, виноват, социалка социалкой. Но вот в нынешнюю эпоху глобализации, как утверждает автор тетралогии, все по другому, не так прямолинейно...

Коротышка вновь хмыкнул неопределенно и как-то едковато, не без яда саркастического улыбнулся.

— Эх вы, коллега, наворотили. Точно мы тут диспут устроить собираемся. А может быть не стоит столь глобально? Ну, написал сочинитель вполне приличную книжку, читать небезынтересно, ностальгии в меру, иронии хватает, в целом не пересолил. Но городить огород обобщений... да кто советскую жизнь не вспоминает вот так-то? И потом, что там в дебюте? Прямая аллюзия с чеховской палатой за номером шесть и отсылка к цитате самого человеческого человека, дескать «вся Россия — палата номер шесть»... Но ведь, если уж разбираться досконально, товарищ Ленин не просто согрешил противу правды, но откровенно слукавил в задоре полемическом; он же вообще состоялся-то во многом как полемист, в основном вот кроет почем зря Богданова в «Материализме и эмпириокритицизме», немца Дюринга, зараз Беркли-

* Автор, очевидно, в данном контексте имеет в виду английского создателя паровоза Джефферсона, ибо американец Фултон — «автор» первого в мире парохода «Клермонт» (1803) и подводной лодки «Наутилус». — Прим. ред.

Юма-Маха... то еще кого ни попадая, причем софистикой предводитель пролетарской диктатуры, о труде имевший несколько отдаленное представление, владел блестяще, виртуозно и убедительно выдавая достижимое за действительное. Это во-первых. А во-вторых... во-вторых, давайте сделаем Антону Павловичу некоторую скидку на излишнюю литературность упомянутого рассказа, несомненно талантливейшую художественность, использованную, так сказать, для большей наглядности, характерности, выпуклости образов и отчетливости, откровенности фабулы, но все-таки... Чехов научился прежде всего ненавидеть определенные стороны общественной жизни и человеческой сущности, и надо признать, ненависть его изыскана и вместе с тем ничем не прикрыта, своих современников он ни капли не щадит и в своей беспощадности гениален, но... Одной ненависти мало, она тоже взор застит и глаза замыливает. Любовь еще нужна, а на оную у Антона Павловича времени и не осталось, даже физически. Ведь как представить ныне творческую метаморфозу Чехова, например, на седьмом десятке лет жизни?! К величайшему прискорбию никак. А доктор Рагин, с Ионычем заодно, чего уж там, безусловно, показательные образы, однако же во все времена и во всех классах и прослойках существовавшие; и воспринимать сии рассказы в качестве предостережения должно, но не более того.

Поскольку Чехова интересовал прежде всего человек, как таковой, как монада, если угодно, не стоит его персонажам придавать излишнюю массовость. Деградация личности имеет место быть при любом строе, в любые времена. А тут целую философию выстраивают на базе некоего частного случая. Не единичного, согласен, но... частного. И потом, та же история повторяется с «Ионычем», а нужно только-то и молвить по его поводу: да, вот как может статься, берегитесь, братья и сестры, рутины провинциальной, зашоренности обыденной, бесцельного существования... Но ведь и рецепт некий нужен взамен, духовный рецепт. И его, этот самый рецепт, может дать только вера и ничего более. Точнее, она и есть сам рецепт. А беда Чехова в том, что он к богу не пришел, ну, не успел, искал, но не нашел, уповая на самого человека, точно как на существо в идеале утилитарное по своей сущности, самостоятельно способное решить любые вопросы рационально, ради «общественных пользы»; оттого, кстати, так с ним, с Антоном Павловичем, и носятся наши горе-интеллектуалы, что сами подобной хворью страдают. Это у них навроде лекарства, помогает оправдать любую либерастию, извините. Почему «горе»? Да потому, что интеллигенции, в свое время модно именовавшееся прослойкой, нынче попросту не существует. Ну, сложилась в позапрошлом столетии этакая *консорция* или даже *конвиксия* выходцев из разночинцев, но себя исчерпала и розно рассыпалась, не став ни субэтносом, ни чем иным. А само название трактовалось и эксплуатировалось впоследствии как угодно вольно. И вся эта шушера нынешних «западников», атеистов, либерастов всех мастей никакого отношения к прежней прослойке не имеет. Но хватких людишек с образованием (ныне липово-компьютерным) и подвешенным языком у нас есть в достатке, вот и *морозят* себе кто во что горазд неподобную чушь, проводя сомнительные аналогии. Зачем? Ради рейтингов и бабла, и ничего иного в подоплеке. Поэтому скучно становится, когда с первых строк романа натыкаешься на приевшиеся сравнения, тем более с явными симпатиями в сторону империи пятнадцати, а еще ранее шестнадцати, республик, не выдержавшей самого малого даже испытания временем. Да, Россия девяностых была на порядок хуже этого социалистического рая, но не зря же говорено кем-то умным «прежде чем станет лучше, будет хуже». И вся недолга. Я и сам девяностые вспоминаю без пиетета*...

Длинный-жилистый, в продолжении монолога выражавший свое к сказанному

* Автор повести в монологах и диспутах своих персонажей, обсуждающих тетралогию романов, проводит линию сравнения СССР — «лихие девяностые» России, в то время как из текста всех четырех книг явно следует именно сравнение с временами настоящими, а «девяностые» — это только «разминка»... — Прим. ред.

отношение либо полуухмылкой, либо кивками головы, не меняя позы, ответил несколько даже с ленцой:

— Практически во всем с вами согласен, дружище... Разве что... Вот когда уважаемый автор устами своего главного повествователя Николая Андреевича и его, так сказать, сподвижников соотносит время развала советской империи и ситуацию, что сему воспоследовало, и время развитого социализма, с явной к последнему симпатией, он ведь предметно сожалеет о конкретных вещах, а именно о военно-промышленном комплексе, о достижениях в этой сфере, о его значении в геополитике, как инструмента сдерживания наших нынешних «партнеров». И сетует недвусмысленно, дескать, зачем же было так бездарно все созданное и накатанное обрушивать, уничтожать, продавая на иголки те же боевые корабли, меняя, если угодно, танк на трактор? А подобное сравнение в любом случае не в пользу новых времен. Даже признавая, как сейчас принято говорить, неэффективность плановой экономики, якобы сырьевую зависимость бюджета союза советских, никакую конкурентноспособность большинства товаров красной империи... Ведь отлаженная, хоть и «порочная» система в любом случае выигрышна по сравнению с полной экономической анархией, бандитскими хозяйственными схемами, отсутствием внятной промышленной политики и так далее... Вот и вздыхает автор сокрушенно, вспоминая с теплотой «золотые» годы советской державы. Кстати, ваш покорный слуга тоже причастен был к советской «оборонке», поработал в этой системе хоть и недолго, но с интенсивностью завидной, и впечатления о том времени сохранил, и опыт определенный имеется. Тут сложно спорить в свете всего нами уже сказанного. И еще, ни одно государство, при любом внутреннем строе, не сможет существовать без позитивных результатов своей жизнедеятельности. Это аксиома, нельзя государству жить без успешных дел! Иначе крах. Почти моментальный, если, конечно, вся буча типа очередной *революции* не затевалась как попытка превращения огромной империи в сырьевой, компрадорский придаток западных «демократий». И люди талантливые и самоотверженные имеются, и в цели великие верят; как не верить; и взаправду, кто же против, чтобы «жить стало лучше, жить стало веселей»? Да, не спорю, цена великих свершений тоже имеет значение, еще какое, ибо порой она бывала сверхжесткой по объективной необходимости! Только вот сейчас спокойно говорить обо всем этом оппоненты не умеют и не хотят. Одни орут о жертвах, вторые о выдающихся достижениях, не слушая друг друга. Установка у них, опять-таки, не до истины дойти, но свое доказать любой ценой. Истина? Она в спорах и не рождалась никогда и никоим образом. Шоу, одним словом! А теплое отношение автора к тому времени, определяет ко всему впридачу молодость, батенька, пришедшаяся на те времена его молодость! С годами она и должна казаться все более и более привлекательной*. И увлекательной. Пусть на самом деле и не была из ряда вон яркой и впечатляющей. Сказал же поэт-фронтовик Давид Самойлов о войне по прошествии двадцати лет:

*Ведь из наших сорока
Было лишь четыре года,
Где крылатая свобода
Нам как смерть была близка...*

В данном случае и мы с вами, друзья мои, никуда не делись и ведем себя очень

* ...Опять же автор повести устами своих персонажей все сводит к «воспоминаниям молодости», к «большим деревьям» и «мокрой воде»... Но все это слишком просто: автор тетралогии в другой своей ипостаси ученый-эволюционист с широкой известностью, а в таком качестве для него было бы примитивным все сводить к «мокрой воде»...— Прим. ред.

похоже, что естественно. Раньше и конфеты были слаще, и вода чище... Психология, ничего не попишешь. Больничный же эпизод, я так полагаю, автору понадобился, возможно, для затравки. Он, скорее всего, не нам с вами, а вот нашему младому товарищу пользителен — информации для, мол, вот как оно было. Впрочем, как бы ни было, нынешние реалии, особенно «на местах», возможно недалеко ушли. А в столицах и подавно.

«Младой товарищ» при упоминании о себе вздрогнул; он явно слушал всю беседу вполуха, о чем-то своем «гоняя», но все-таки нашелся отделаться присказкой бравого солдата Швейка, ею определяя свой нейтралитет по части затронутых тем. Слегка порозовев и явно старясь поточнее воспроизвести гашековскую абракадабру, скороговоркой вытолкнул из себя:

*Как бы уж там не было,
Как-нибудь, да было.
Никогда так не было,
Чтоб никак не было...*

— Можно и так, — согласно качнул головой длинный. — Можно, конечно, ибо времена новые, а языки вечные. А «было» по-всякому, по-разному. Если обратиться к частностям, то очень даже легко зарыться в конкретике с башкой и ничего путного оттуда не выудить. Вот, например, вспомните эпизод в романе, как начальство ловило молодого спеца и всех, иже с ним подвизавшихся в кумпанство, на употреблении спирта в обеденный перерыв? Скажите, это правдоподобно? Не думая засомневайтесь. А я вам, други, без промедления отвечу, что да, очень даже. С этим спиртом, с «шилом» так называемым, или, как нарекли авиаторы, с «массандрой», столько историй происходило, что и не счесть. И парторги различных мастей своего не упускали, особенно ежели кроме подобных «операций» да всяческих агитационных затей делать ничего не умели да и не хотели. И парторг парторгу рознь бывал, и люди настоящие, стоящие среди них очень даже попадались, искренне верящие и даром свой хлеб не жевавшие. Однако... вот же присказка липучая, опять-таки из тех времен славных; весь позитив перечеркивался напрочь формализмом, приспособленчеством и карьеризмом большинства, таковую когорту составляющего. Правильно, залог существования любого строя, даже самого жуткого и бесчеловечного, или наоборот, развеселого: позитивные достижения в развитии промышленности и аграрного сектора, и науки, и культуры, иначе гибель неминуема, но... Вопрос, а каким образом все сие сотворено и какой ценой, тут едва ли не основным становится. Да какое «едва ли»! Основным и баста. Все по Достоевскому Федору Михайловичу. Не будем сейчас углубляться в данном направлении, лишь себе зарубочку на память сделаем. А сокрушается автор, чисто по-человечески разбираясь, правильно и понятно, ибо, в одночасье считай, внешний и внутренний враг разрушил общественно-экономическую формацию, извините за выражение, и, следовательно, все структуры ее накрылись медным тазом. И наибольшую боль вызвало именно крушение ВПК, поскольку комплекс этот и являл собой все передовое и положительное, что могло у нас тогда быть.

И вот красной нитью проходит сквозь все повествование, и не только через первый роман, но и в дальнейших также, «ума холодного размышления», если угодно, авторские, мол, неужто следовало так все под корень вырубать, точно виноградники в горбачевскую антиалкогольную кампанию? И уж, конечно, сравнения прежней оборонки, ее уровня и возможностей, с тем, что пришло ей на смену... ведь только сейчас несколько спохватились... С чем там вообще сравнивать? Только дурь поднялась еще в перестроечные времена с конверсией этой идиотской! Я повторю еще раз, уж больно показательно: смерть крейсерам, даешь швейные иголки и консервные

банки! Повывлезали ничтожества отовсюду с предложениями бредовыми танки пустить на трактора. Идиоты... Конечно, возмутительно и горько, и обидно. А кадры куда? На помойку? Оттого-то и понять автора не сложно. И солидарность с ним ощущаешь, и впрямь, нельзя же было восхищаться скороспелками, о коих пели нам ангажированные «смишники», вот, мол, лидеры нового времени, пионеры капитализма. Кэшбэком тебя по фейсу! Однако... и вновь однако. Ведь в прежнем виде преданное всеми, прежде всего верхушкой властной, государство существовать не могло, и ни одна его институция конечно же; и весь лепет и шамканье насчет того, какую страну мы потеряли,— в эпоху глобализма значения не имеет. Какую страну? Которая даже трех четвертей века не протянула? Это же в историческом масштабе мгновение! Какую страну? И не страну, кстати, вовсе. Странную конфедерацию с виду, где вся идеология была построена на лжи, на обмане, где партийная камарилья жрала-пила на наших костях и жилах?*

Правильно, воз и ныне там, сменили шило на мыло, что тогда бонзы партийные и хозяйственные, что сейчас олигархат и прочая. Правильно. Но сие отнюдь не означает, что о том прошлом нужно вздыхать! И никакую свою красную империю никто не сохранил бы, и пусть пример юго-восточного соседа свет не застит. Национальные элиты захотели набивать мощну, уже никого сверху не опасаясь, попробуй их останови! Шиш с маслом! Вот вам и ахи-охи.

Но все, фигурально выражаясь, пущенное под нож по воистину преступной инициативе младореформаторов, все, на что было угрохано столько сил, средств, жизней человеческих, и утраченное в одночасье, в угоду заокеанским врагам, вертевшими нашими вождями и вожденьями напрапалую, все это «планово» свершилось; и еще долго придется порушенное восстанавливать. Разрушение, как и предательство, занятие весьма увлекательное. А напоследок об этом хочу лишь обмолвиться, что все успехи во всех областях нашей жизни могли бы быть еще скорее достигнуты без какой бы то ни было смены строя, без утраты изначальной нашей, корневой *монархической государственности*: в Российской империи то есть; тогда не надо было бы заново промышленность и все остальное поднимать, перед этим дезавуировав целые условия и разрушив «до основания» все и вся, нырнув на время в лапотный век. Со-слагательное наклонение? Да извольте — и кто придумал ахиною, что история его не любит? Логика подсказывает обратное. А изобрели такой аргумент для оправдания всех былых ляпов, слишком дорого и кроваво стоивших нашим пращурам, в частности.

Да, друзья-читатели мои, я не всеведущ, помстилось мне сначала, что собеседники за самоваром винтажным разговоры умные ведут, ан нет, ничего и в помине не было. Глянул я пристальнее, а длинный-жилистый прав, торчит на столе чайник пластмассовый, только ткни в кнопку и, пожалуйста, через минутку-другую вот он кипиток. Гоняй чай, робята, а о самоваре забудьте, как и о том времени... самоварно-паровозном... И так-то вот всю жизнь — мститися нечто приятное, корневое, основательное, в традициях вековых, а на деле является по любому поводу всяческая китайская пластиковая чушь. И нынешнее время ничего не изменило. Для большинства из нас, за исключением... понятно кого.

— Кстати, об эпизоде с якобы распитием,— юркоглазый тостячок окунул губы в стакан с чаем, облизал их неспешно, еще прихлебнул с некоторым шкворчанием, и продолжил излагать.— Вот в романе контролеры-ревизоры обломались, что называется, и утерлись, а в корпоративном «бузине», в наше время, подобная дурь даже при нулевом результате могла закончиться для этой компашки весьма плачевно. Рассчитали бы с минимальным выходным пособием и все тут. Утрата доверия — уни-

* Дабы не затемнять восприятие читателей, вновь отметим: подобные высказывания персонажей повести есть не анализ (совершенно иной «по идеологии») тетралогии романов, но вложенное в уста этих персонажей мнение автора повести, на что он имеет полное право, ибо он — автор.— Прим. ред.

версальное основание для расставания. И ведь нигде не оспоришь, частная компания, владелец — единоличный вершитель судеб. Пусть не везде, не всегда и не столь жестко, но принципа основного сие не отменяет. И ведь между строк такой вывод читатель с опытом, мыслящий, легко углядит. А еще акцентик авторский, хоть и вуалируется, но отовсюду замечается, дескать, несмотря на всякую партийную лабуду, невзирая на общественные *палки в колеса*, люди дело делали, и делали весьма успешно. Мда, и никакая партия не смогла этому помешать. А колхозные вояжи тем паче. Это вообще для всех, живших в государстве развитого социализма, тема почти сакральная.

Молодой, некоторое время будто погрузившись в изучение индивидуальных особенностей выдавшей виды столешницы, может и письмамена известного рода там имелись, что весьма возможно, так вот молодой вдруг вскинул голову, тряхнул шевелюрой и молвил:

— Колхоз? Ну и что? Нас вот уже никуда не отправляли ни в школе, ни в хабзайке, ни на службе. Да и что там хорошего-то быть могло? Не-ет, соврал, на службе к комдиву на огород посылали в помощь его супруге, она солдатиков молоденьких привечать любила... А так? Дембелей, помнится, согнали вроде на аккорд картошку посадить генералу, а там не шесть дерьмовых соток, шалишь. Ну, они вроде бы и уложились в кратчайшие сроки, и отбыли восвояси, а потом генеральша встревожилась, что корнеплод любимый всходов не дает. Зато у забора вдруг ботва из земли поперла, дерево прямо-таки картофельное. Оказалось, что дембеля яму вырыли и всю рассаду там захоронили, а пустые гряды проборонили сверху, мол, порядок в танковых частях. Их никто и не заподозрил. Вот это, я понимаю, колхоз! Он пожал плечами, этак не без пренебрежения, ну явно не в теме малец; старшие его товарищи лишь снисходительно поморщились и взглядами сожалеющими обменялись.

— Чудило ты юное,— длинный вновь растянулся в кресле елико возможно.— Поездка на поля, она была для горожан сродни побегу на волю, в пампасы. От рутины, от контроля старших товарищей и начальства, вообще от официоза и его многочисленных хомутов, вожжей и прочей сбруи. И все бытовые якобы трудности были побоку. Хоть и на лоне природы нужно было ежедневно «урок сполнять», но сам ландшафт, просторы, вольный воздух облегчали дыхание и любые действия. Ощущение жизни менялось, очевидно в каждом просыпалось нечто глубинное, родовое, то, что связывало человека с окружающим диким миром в древности, в нынешних условиях антропогенного и техногенного ландшафтов дремлющее втуне...

— У тебя деды-прадеды откуда родом? — вклинился в разговор грузный.— Кем они были, чем занимались? Ага, крестьяне, землю пахали, хлеб растили. Так вот смею тебя уверить, мой младой товарищ, что в нас оживает на природе и при жительство деревенском, в лесу, на совхозном-колхозном поле в том числе — старинное, порядком избытое и забытое ощущение крестьянина, всегда понимавшего свою связь с родной землей, любившего эту землю не показной и крикливой любовью, но истинным, глубочайшим чувством, тяжело выношенным и выстраданным поколениями предков. Конечно, у нас все это почти ампутировано и убито, но мы — прямые потомки тех крестьян, что растались со своей землей во времена неизбежной индустриализации страны, да и мира в целом, а у нас еще частично были от нее отлучены в коллективизацию, тех, кто помнил еще и хранил в душе, пусть и бессознательно, образ малой родины, деревни, села, хутора, пашни. Генетическая память — штука упрямая, она веками формировалась, от нее не избавиться враз. Вот и мы, грешные, испытывая в колхозных эпопеях некий дурашливый, подспудно дремлющий до поры, восторг, отчета в его причинах себе не отдавали. И, кстати, подобные вояжи на природу несли еще и острые любовные впечатления, новые отношения, романы, так сказать. А это всегда волнительно, интересно и освежающе. А ты говоришь дембеля...

Молодой хмыкнул и вновь занялся чаепитием, маленькими глотками прихлебывая

уже наверное порядком остывший чай. По всему было видно, что аргументы старших его не вполне убедили. Он вообще привык доверять только личному опыту и собственным ощущениям, а вот так, с чьих-то слов, пусть и от друзей исходящее... Кто его знает?! Впрочем, красноречия старших его товарищей подобное выражение скепсиса отнюдь не ослабило. И длинный тут же продолжил свой аналитический экскурс.

— Если даже не вполне по содержанию романа, но где-то рядом, как явно подразумевавшееся автором, вольно или невольно, но наши города, особенно вновь возводимые, вместе с промышленными предприятиями построили и сделали практически конфетками именно крестьяне, утратившие привычный ландшафт. Земли в городе не стало, а привычка трудиться до седьмого, до десятого пота осталась. Крестьянам по наследству, с молоком матери, передавалось умение терпеть, работать и ждать. Возьми нашу «ремесленную слободу», ведь даже в глухие девяностые она не захирела, а центр до сей поры величают «малым Петербургом»*, а кто это все сотворил-обеспечил? Кто сделал так называемый моногородок, один из многих и многих в стране, «жемчужиной региона»? Они, «горожане кровей крестьянских», привычные к нелегкому труду, но не умеющие что-либо делать плохо, спуска рукава.

Вот оттого-то у нас, выезжавших на сельхозработы, и возникало это пьянящее ощущение воли, свободы, отрыва от серых городских будней. А на самом деле все это лишь трансформированная, завуаленная, но наша генетическая память о давно забытой малой родине, земле пращуров. Да, помнится, во время учебы в вузе, курсе на втором, когда гоняли нас морковку убирать поденно, без стационарного заселения в совхозе, в деканат посыпались вдруг разнообразные медсправки, что студент имярек освобождается от такого рода работ по причине... идиосинкразии на корнеплоды, искривления позвоночника, плоскостопия и прочей лабуды, скандал был на курсе и в деканате жуткий. Подключили комитет комсомола и даже партком, дабы вразумить мнимых «болящих»... А всего лишь через год, когда сельхозотряд, всегда формировавшийся на базе третьего курса, выезжал в тот же совхоз для работы и проживания там в течении месяца, желающих было хоть отбавляй. Правда и тут не без хитрости все происходило. Нас, самых здоровых на курсе парней, спортсменов, определили в грузчики и тарщики, все не в землице сырой ковыряться, а кто-то и вообще пролез на кухню с помощью все той же пресловутой справки о примате легкого труда. Но это было как-то весело и зависти, а тем паче злобы, у окружающих не вызывало. Вот и автор романа, в присущей ему ненавязчивой манере, не декларативно, но через действие говорит практически о том же, о чем и мы тут распинаемся. Вне городской черты, когда сами собой пали «оковы тяжкие» повседневности каменных джунглей, когда душа человеческая освобождалась от пут стреноживающих и всяческих шор, человек, хоть и не надолго, становился воистину самим собой. Оттого и возникают вдруг, неожиданно-негаданно, различные романтические отношения, и никакой аморалки в них нет. Здоровые инстинкты? Да, наверное, но разве это столь стыдно и неприемлемо? И потом инстинкты инстинктами, а душа и сердце все равно присутствуют. И, если резюмировать, то роман этот — здоровая, естественная, даже мудрая в чем-то ностальгия по времени, совпавшем с государственной мощью, особенно в определенном, но решающем направлении, но это направление и присутствовало в жизни героев повествования.

Для них то время навсегда осталось *временем, не поменявшим цвет*, и «красные цвета» тут совершенно не при чем. Просто линии персональных биографий очень гармонично сочетались с глобальной биографией громадной советской империи. Понятно, что все это длилось до поры до времени, что пришли в урочный час и разоча-

* Как следует из текста, действие повести «привязано» к северо-западной России, возможно и к окрестностям Северной столицы...— Прим. ред.

рование, и осознание глобальной катастрофы всего мироустройства... но все это произошло потом, позже. И еще есть в романе определенная надежда, не зря же в названии присутствует замечание, дескать, не просто книга, но *воспоминание о будущем*, надежда, что все лучшее из бывшего еще повторится, пусть на другом витке истории, но непременно придет время, когда мы вновь будем успешно и грамотно «делать ракеты». Зачем? А чтобы, никого извне не опасаясь, любить, творить и уверенно смотреть в будущее.

Молодой-длинноволосый, слушая тираду жилистого-высокорослого, явно воспламенившегося к ее завершению, спокойно покончил с чаем и принялся вновь наполнять опустевший стакан. Делал он это пижонски, глядя на собеседника, казалось, пустыми глазами, а чай наливая вслепую, на звук. И вдруг улыбнулся с ехидцей и немного язвительно, хотя и не совсем впопад, молвил:

— А между прочим, Антон Павлович, который, как ты утвердил, до бога не дошел, не успел, так вот Антон Павлович сказал, что человек должен быть или верующим, или ищущим веры. Иначе он пустой человек.

— И что? Где же противоречие? — юркоглазому явно надоело молчать и слушать, поэтому он решил ответить, хотя вопрос был вовсе не ему адресован.— Чехов сам веру искал и оттого высказался столь убежденно; он, несомненный исследователь и во многом знаток души человеческой, явно нуждался в вере, в поддержке господя, ибо иначе трудно вообще о душе рассуждать. Мигом угодишь в объятия к Фрейдю или Юнгу, или сразу к обоим. Просто Антону Павловичу времени было отпущено мало, он многого не успел. И вообще, такая глобальная тема лежит за рамками нашей беседы. Как-нибудь потом...

— Ну, а почему, собственно, потом? — длинный все-таки успел подать голос, пока товарищ осекся, дух переводя.— То есть, конечно, о Чехове подробно действительно в другой раз. Но... но вот что роднит, хоть и отдаленно, и вообще ассоциативно, интонацию автора и уважаемого классика, так это некое мужество сожаления что ли. Ведь есть о чем сожалеть автору. В проклятые «лихие девяностые» многое, да почти все, что было напряжением всех сил и ума достигнуто в Красной империи, в науке, в промышленности, особенно в «оборонке», практически все это было пущено «под нож», и оттого автор порою столь саркастичен по отношению к наступившей действительности, в которой нет места разумному рационализму, где категорический императив — личное обогащение любой ценой. Это же дешевка, развенчание всего человеческого... моральная деградация. Вот и Чехов, беспощадный к вымирающему дворянству, все-таки не без сожаления о нем судит. Но в том-то и состоит мужество, что не сбивается на поминальный, бесполезный вой, на пустые, фальшивые слезы... Хоть все и гораздо сложнее, это я лишь об одном направлении упомянул. Но в романе именно ирония и помогает автору выстоять, а ведь как ни глянь, трагедия получается. Просто ввиду аберрации близости многие этого пока толком не осознали. Ты себя вспомни... впрочем ты тогда, в девяностые, еще пацаненком был, не понимал ни бельмеса. И хорошо — твое счастье. А я себя вспоминаю, так ведь и думать обо всем этом некогда было. Пахали на монтаже до памороков, едва успевали реагировать на подкидываемые жизнью обстоятельства, одно абсурднее другого... Молодые, конечно, были, в девяносто пятом мне и Стасу по тридцатке стукнуло. Силенок хватало, энергии тоже, вот вертелись, не скучали, как говорится, было бы чем заняться. А думать-то, осмысливать все произошедшее и происходящее гораздо позже стали. Правда, Стас?

Грузный-юркоглазый утвердительно кивнул головой. Да, как-то не пришлось доселе обмолвиться, что звали его Станислав, длинного же именовали от рождения Глебом, а молодой и длиноволосый откликнулся на Всеволода, Севку значит. А коротали они время, пережидая непогоду, ливень и ураганный ветер, приехав на *уик-энд*, говоря дурашливым новоязом, в почти заброшенную и уж точно богом забытую

деревенку, где Глебу по наследству достался дом, еще прадедом возведенный. Прибыли они сюда в первую голову за тем, чтобы оценить во что выльется работа по замене нижнего венца старинного этого жилища — он уже порядком подгнил, и довольно мощное строение стало проседать. А вот выбираться назад в город, по грунтовке, в такой ливень, да еще с ветром, не очень-то хотелось. Поэтому, коротая время, Глеб и затеял этот, с позволения сказать, диспут, сам же несколько месяцев назад и «подогнал» одну за другой эти книжечки знакомого ему автора друзьям почитать. И что странно: и Стас, и Севка, не отличавшиеся особым к чтению пристрастием, очень скоро и дружно все романы прочувствовали и даже не заявляли, мол, мура и такое в жизни редко встречается, а напротив, дружно и очень внятно молчали, наглядно показывая, что книги прочтенные их явно зацепили за душу. Или, что очень даже возможно, озадачили.

Глеб поднялся с кресла, подошел к окошку, слегка отдернул занавеску и глянул на улицу. Судя по всему, изменений снаружи пока не предвиделось. Ветер неистовствовал, ветки прямо под окном посаженной ивы хлестали по стеклу, ливень нисколько не уставал орошать грешную землю, иссякать явно не собираясь. Значит, можно продолжить разговор, благо все в теме. И Глеб, проверив, достаточно ли в чайнике воды, сходил на кухню, откуда вскоре вернулся с банкой клубничного варенья, уже лишенной крышки, и тремя десертными ложками в руках. Водрузив все на стол, он вновь утвердил длинное свое тело в кресле.

Севка тем временем закурил, поискал взглядом пепельницу и, не найдя таковой, приспособил под нее блюдце со сколотым краем, непонятно зачем доселе стоявшее на столе. Стряхнув пепел, он извиняюще глянул на Глеба, а тот лишь кивнул одобрительно, дескать, так и надо было сделать. Стас же, оценив перспективы в части десерта, надул щеки и шумно выдохнул, после чего потянулся к ложке и погрузил ее в банку, предварительно придвинув кресло и себя в нем поближе к столу. Маневр был совершен настолько по-детски потешно, при помощи одних лишь ног, не без усилия, впрочем и той части тела, откуда ноги и произрастают, что Глеб и Сева невольно и почти синхронно заухмылялись.

— Ладно вам,— не принял их веселья Стас.— Ну, а с нашим Николаем Андреевичем дальше-то что? А равно и с Игорем Васильевичем и всеми прочими? Нет, понятно, далее следуют продолжения, но с какого перепуга автора на второй, а потом и на третий романешти сподвигло? «Об чем речь», как говорили где-то там когда-то там... Или вновь в беседах посетовать на несовершенство и вообще убожество нынешнего времени и в нем живущих особей по сравнению с тем и с теми, что из глубины двадцатого столетия?

СЛОВУ ПРЕДПОЧИТАЮЩИЕ ЧИСЛО... («ЗАДУШЕВНЫЕ БЕСЕДЫ ОБ УМОЗАМЕЩЕНИИ»*)

Глеб улыбнулся одними губами, направив свой явно отсутствующий взор прямой наводкой в противоположную стенку, оклеенную выцветшими от времени, некогда салатного цвета обоями с малопонятным, с претензией на среднеазиатский, орнаментом.

— Эй, на барже,— шутливо окликнул приятеля Стас,— вы в порядке, мой капитан? Вы здесь?

— Да здесь, здесь,— отозвался Глеб и повернулся в кресле вполоборота к слово-

* Алексей Яшин. Задушевные беседы об умозамещении (восьмая книга рассказов Николая Андреевича): Роман-новеллино / Предисл. Л. В. Ханбекова: Академия российской литературы.— М.: «Московский Парнас», 2017.— 343 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). В электронной форме на сайте www.pz.tula.ru — Прим. ред.

охотливому собеседнику.— «Беседы», так будем именовать второй роман в нашем разговоре для краткости. Так вот, «Беседы» являют собой второе приближение авторского посыла, предназначенного читателю. Устами все того же Николая Андреяновича, его коллеги Игоря Васильевича, репликами прочих персонажей являются нам характерные примеры конкретных ситуаций и людей в них поставленных, с целью аргументации тех же утверждений, а именно, что отнюдь не все, с нами происходящее, суть однозначно прогресс, что постсоветский хаос принес нам, кроме непонятной, непонятой и вообще крайне сомнительной свободы, а еще и отступление с уже занятых и освоенных позиций, то есть явную деградацию как человеческих качеств, так и отношений между людьми, а значит и регрессивную составляющую сути общественных процессов и социальных явлений.

— Ну, безусловно,— встрепенулся, тряхнув шевелюрой, словно из воды вынырнув, Севка, довольно долго хранивший упорное молчание.— И предваряя свои «беседы» не очень-то радостными картинками родного города, Николай этот Андреянович с приятелем своим профессором мигмом пересказывают на «дела давно минувших дней» с явными интонациями: мол, вот, «были люди в наше время»... И простой сержант Прокофьев, молодой парень, хоть и хлебнувший военного лихолетья, имел возможность даже в условиях армейских послевоенных будней, в сахалинском захолустье, повысить свой образовательный уровень и как! Чтобы в итоге встать на одну доску с элитой ядерной физики страны и мира! Принципиальную схему водородной бомбы и термоядерного реактора предложил обычный воин-связист! И все сие тогда было вполне возможно. Хоть случай и уникальный, но... И тут же возникает, в воздухе повисает, незаданный вопрос: а сейчас что? Получается нынче таких сержантов нет? Не рождает земля русская своих «платонов и ньютонов»? То есть мы — очистки картофельные, никуда не годные, разве что на корм свиньям...

— Не так экстремально, мой молодой друг,— Глеб даже хохотнул от удовольствия, так ему пришлось по душе Севкина запальчивость и просквозившая в его монологе очень детская и явная обида.

— А что ему еще думать-то остается? Собственно, можно всю историю истолковать именно «по Севке».— Стас даже взъероился от солидарности и в кресле приподнялся; сидел теперь с прямой спиной, а не развалившись бесформенно.— Конечно, автор, справедливости ради, заметил, что самородка в итоге на первые роли не пустили, но вроде как ему этого и не особо требовалось; он, видите ли, кайф получал от самих занятий наукой. Естественно, что нынче таких блаженных едва ли отыщешь. И старина Лоренц, что из следующей беседы, нобелеат будущий, знаменитый ученый, создатель науки этологии, в советском плену ведь также на блаженного смахивал, только у него блажь была с немецкой прагматической жилкой, себе на уме. Скорпионов, для увеличения доли белков в рационе, кушал, приручал птичек, труд научный писал, врачевал и своего брата-пленного, и наших воинов, охранявших лагерь. «У Гааза нет отказа...»,— помните песенку о другом немаке не от мира сего. Ведь точно, «были люди» и так далее. А сейчас... рукой лишь махнуть остается. Но ведь подобные суждения топором рублены, неотесанны и грубы. Безусловно, люди описаны в первых двух главах незаурядные, достойные внимания и почитания. И Сева воспринимает сказанное, не распрощавшись с остаточным максимализмом, болезни роста, так сказать, не изживши полностью. Но все-таки вопрос в воздухе повисает, а?

— Так ведь все, поведенное собеседниками, нелинейно толковать следует. Не так, что вот тогда и вот сейчас, и однозначно, точнее однобоко, с плеча рубить. Эти примеры — просто иллюстрации для сравнения: насколько изменился наш мир и наша жизнь, ее стандарты, нормы, критерии, стереотипы. Насколько нынче сокрыта втуне, пребывая в латентном состоянии, бескорыстная составляющая человеческого существования, в пользу меркантильной. В наше время, что тут скрывать, от дела, в

том числе и доброго, глобально причем доброго, никто не погнушается, что называется, выгоду поймет. И получается по-житейски правильно, довольно сапожнику без сапог гулять. Но... вместе с тем, не столь уж очевидна сегодня благородная романтика времени и человека в нем находящегося. Все гораздо суше, прозаичнее; даже если шоу устроить, веселье в большей степени «руководящее», обязательное что ли, нежели спонтанно естественное. Вот о чем речь идет, на мой взгляд.— Глеб сделал паузу, оттолкнулся руками от подлокотников кресла и, поднявшись во весь свой немалый рост, стал прохаживаться по свободному пространству комнаты, чуть в стороне от стола.

— И опять, возвращаясь к развитому социализму, столь нам всем сомнительному как минимум. Дело в том, что невзирая на девиз, где недвусмысленно заявлялось, что весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем... А затем, как оказалось даже против воли руководящих интернационалистов, была воздвигнута новая держава со всеми ее атрибутами, только, воленс-ноленс, с использованием опыта, достижений и интеллектуального потенциала прежней. «Из золы не бывает горы»,— как у Василия Яна в книге «Огни на курганах» изрек вождь саков Будакен. Из воздуха, из пальца ничего не создашь. Основа нужна, фундамент. Вот как в технике, где всякое новшество идет от уже существующих образцов, которые нужно модернизировать, улучшать. Так и в Советском Союзе получилось,— взяты позитивные достижения и наработки Российской империи, начиная с военспецов в РККА и плана ГОЭЛРО и заканчивая многочисленными научными школами, созданными выдающимися нашими талантами еще во времена имперские, что были полностью или частично применены для строительства советской промышленности и науки. Об искусстве и говорить нечего. Все «оттуда»: и красные творцы, и не очень, и откровенно... ну, понятно кто. Кстати, Байкало-Амурская магистраль планировалась к прокладке в шестнадцатом году. А реализована была только в семидесятых.* И сегодня вновь на слуху. Вот и все. И вновь тут сожаление проскакивает о бездарности процесса перехода от эпохи СССР к постсоветской России с ее повальными разрушениями всего и вся, с обнищанием народа, с коллапсом экономики. Не по-хозяйски поступили «новые вожди», разрушители. Уже имея опыт предыдущего уничтожения и восстановления, могли бы и побеспокоиться о преемственности и конструктивной сохранности наработанного во всех сферах жизнедеятельности государства, общества, экономики... Ответ же автора — глобализация и поражение советской страны в борьбе с объединенным империализмом.

Стас аж ногами заелозил в ответ, да к тому же зарычал от удовольствия. Это смех у него такой получился.

— Глеб, какая сохранность?! Какая преемственность?! Да у всех в глазах баксы крутятся словно в счетчике, помнишь мультик диснеевский? Всем было и есть до остального фиолетово. Что у нас, что во вновь возникших суверенных и незалежных. Там национальные элиты жирный советский пирог делили, и у нас чем хуже? Народ... да они на нас положили с прибором, живите, как знаете, хоть подохните все тут, плевать...

— Зато в романе, смотрите, какие люди прописаны: они и своему таланту домощенному, в секреты государственные встраивающемуся, кислород не перекрывают. Пусть, дескать, парень старается, авось... а ведь в реалиях очень даже могло быть

* Здесь сдвиг мотива на цель: одно дело спроектировать, совсем другое — осуществить. Тот же ГОЭЛРО. Кстати говоря, БАМ активно строился еще в тридцатых годах, но с началом Великой Отечественной войны все плети рельс со шпалами на готовых участках БАМ'а были сняты и перевезены для прокладки рокадных железных дорог вдоль иранской границы и по левому берегу Волги — понятно для чего.— Прим. ред.

и так как в нынешних телесериалах: черный воронок, камера, следствие, и — в лучшем случае — курорт вроде Норильска либо Караганды, а то и вовсе стенка. Шлепнули бы — от греха подальше, а то куда он лезет, тля этакая...

— Подобный вариант не исключался, — моментально отреагировал Глеб на Севкину реплику. А тот, точно воодушевившись от неожиданной поддержки, взвился вновь.

— И с гитлеровцем пленным как возжакается- цацкается тот же лейтенант Степан? С недобитком нацистским, энэздэапэшником*, а значит с идейным фашистом? О-очень лояльно! Сверхлояльно! И научный труд царапать позволяют, ученый же чувак! И солдат врачевать хворых, хотя бы и самогонки перепивших, это врагу-то, способному черте чего натворить! Ан нет. Русский человек он в драке лют, а к поверженному гневом отходчив, даже милосерд. Мне кажется, что в данном случае мы имеем дело с прямым авторским кивком в сторону людей того времени — они явно нравственно лучше нас нынешних. Хотя, попадись на пути будущего нобелевского лауреата особист более въедливый и чинодрал, раскрутил бы он «дело» о вредительстве, подготовке диверсии и потакании врагу. Что-нибудь в подобном роде. И полетели бы головушки во все стороны...

— Сева, автор просто приводит конкретные примеры, наглядно показывая, насколько жизнь может быть вариативной и непредсказуемой. Но в том-то и дело, что прототип у сержанта Игоря Прокофьева реальный, и все его достижения в науке неоспоримы: водородная бомба и «Токомак» в СССР были созданы, а Конрад Лоренц вообще в науке историческая личность. И то, что на их пути люди попались стоящие, не топчущие и не жрущие ради собственной корысти себе подобных, не ожесточенные войной и всеобщим горем, восстановившие свою страну в кратчайшие сроки (для создания нужны добрые чувства, а не злость и ненависть), тоже факт неоспоримый. Здесь историческая преемственность: эти прекрасные качества русскому человеку были присущи и во времена Империи Российской, и еще ранее, и после февральско-октябрьских переворотов, перетекших в ожесточение «той единственной Гражданской...». Следовательно, идеология идеологией, а человечность и гуманность инвариантны. Вот Николай Андреевич с Игорем Васильевичем и тянут нить бесед своих вполне логично, соотнося влияние времени на человека, а также мысли и деяния людей в разное время.

— Слушай, хозяин добрый, а отчего у тебя в пасторальном владении нет никакого скарба ушедших эпох? Ведь дом-то древний, а мы во! — кипятик в пластиковой штамповке варим, нет бы самоварчик какой-никакой, пузатый, медный... Мне все время, когда в эти хоромы былых времен приезжаю, он мстится на столе. Даже вот сегодня пока ехали, я все мечтал, как чай из «старого медного балагура» бум гонять, шишки там ольховые и все такое.

— Стас, дружище, да я сам не прочь бы, только вот этого самовара отродясь не помню. Бабушка вспоминала, мол, был такой, и керосиновая, кстати, лампа-семилинейка была, подвешивали ее вместо люстры под потолком..

— Вот я и говорю, — Стас, словно полностью его удовлетворил ответ Глеба по поводу раритетов былого быта, вернулся к прежней теме. — Товарищи эти, профессор с доцентом, на столь высокий уровень обсуждения забралась, так планку задрали... Как будто в те «старосоветские» времена мало было ничтожеств, подлецов, ничемных людишек... И ведь следующие беседы их о чем? Правильно, о «цыганских факкультетах» и «хиршемании», то есть о подмене действительно научной деятельности, а

* От кальки с немецкой аббревиатуры: NSDAP — National-sozialistische deutsche arbeiter Partei: Национал — социалистическая рабочая партия Германии, то есть правящая (гитлеровская) партия Третьего Рейха (1933—1945), эмблема которой, красное знамя с черной свастикой в белом круге посередине, являлась и государственным флагом. — Прим. ред.

равно и воспитания-обучения специалистов высокого уровня в различных отраслях науки и техники, о подмене всего перечисленного абсолютно ложными действиями, псевдокритериями их оценки, о создании видимости значительных свершений.

Когда все сие началось? Правильно, с «лихих девяностых» и в наше нынешнее время раскатилось. И ведь возражать им сложно. Смотрите сами, как новоявленные университеты, аки грибы после дождя расплодились, новые факультеты буквально придумывали на бегу, статус вузов стремясь сделать весомее практически любой ценой. И тот абсурд о менеджменте в фармакологии и медицинской технике с привлечением натуральных цыган из табора, хоть и порядком уже оседлого, с бароном, проведенным в доценты, с солистами хора, ставшими старшими преподами — это ведь «живописное» отображение реальности. Ибо «фольклор в фармакологическом менеджменте» звучит вполне солидно. Попробуй оспорь. Да и курс «рекламы в эпоху тоталитаризма», который любезно не отказался читать Игорь Васильевич... И правильно, зачем отказываться, деньги терять, которые на благое дело идут?! В эпоху абсурда нужно жить по ее правилам. Не ты, так другой подхватит упавшее знамя.

Вот и вся учеба, процесс, так сказать, подготовки кадров для нового сектора «экономики» и одновременно расширение сферы научной и учебно-педагогической деятельности. Дом умалишенных, «Кашенко», скажете? Не-е-ет, други, это наша обыденная жизненка. Впрочем, и в других сферах несуразниц полнехонько. А от индексов научной значимости по мистеру Хиршу и по сей день наши ученые не знают куда деваться. А ничего не попишешь, ведь в остальном мире бредятину эту приняли и запустили в обиход. Глобализм! А нам остается бежать вослед западным коллегам, дабы соответствовать мировым «стандартам» и не прослыть вновь деревенщиной отсталой. И ведь самое удручающее в том, что никак не оспорить «важность» подготовки специалистов менеджмента в области фармакологии; они нужны, коли есть отрасль такая, есть рынок, конкуренция и прочая. Ну, а индекс Хирша какой-то постмодерн в науке, когда качественные оценки попадают в прямую зависимость от количественных, от упоминаний, ссылок и цитирований твоих «трудов» в «трудах» коллег и оппонентов. Дурдом, возведенный в норму. Как у Довлатова,— «*абсурд становится реальностью*». И подобное далеко не предел. «Все впереди»,— как озаглавил свою известную в свое время книгу выдающийся наш писатель Василий Белов. Вот наглядная демонстрация процессов деградации интеллектуальной сферы деятельности человечества. Или, Глеб, я не прав?

— Прав ты, брат мой, в том, что верно описал сами процессы, но есть надежда, что оные не станут глобальными тенденциями, в чем автор «Бесед» резонно сомневается. Реальная потребность в образованных специалистах и действительно ученых, занимающихся актуальными темами, а не индексацией своих якобы успехов, перетянут любые ухищрения и псевдоусилия. Как и потребность в истинных профессионалах — от рабочих специальностей до фундаментально научных. Вот за какую реальность «тянут» наши собеседники. Они ведь не ретрограды какие-то и не идейные борцы за светлое прошлое, они — образованные мужики, знающие цену нормально устроенной жизни и реальным делам, и прекрасно различающие где злаки, а где плевелы. Оттого их и не сбить с панталыку внешними скороспелыми новациями. Они за правильную постановку дела, и в сожалении их о различных забугорных «новшествах», а равно и отечественных «ну и хау», немало мужества и стойкости. Вот что ценно.

Глеб умолк, в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем старинных ходиков, висевших на стене. То ли собеседники не нашли, что ему ответить, то ли попросту утомила их беседа и решили они взять тайм-аут, дабы собрать воедино мысли и ощущения. Стас налил себе чая, Севка потянулся до хруста в суставах, крякнул довольно и стал изучать свои ладони, словно желая обнаружить в них

нечто новое, Глеб же, в половину своего шага приблизившись вплотную к столу и вооружившись ложкой, с чувством продегустировал варенье в банке, зачерпнув из нее с горкой. И повторил с явным удовольствием, после чего также возжелал чаевничать. Молчание друзей могло свидетельствовать о достигнутом согласии или наоборот о появлении неких контрверз высказанным доводам, но... у каждого из них появилось ощущение, что думают сейчас все об одном и том же, только по-разному. Оно и понятно, Вон, Глеб и Стас, что называется, хлебнули лиха девяностых полной мерой, они знали обо всем не понаслышке и помнили ту пору весьма отчетливо даже по прошествии четверти века; означенная пора оставила свой рубец и на шкурах, и в головах. Когда тащишься по тропе и вдруг срываешься в бездну... В лучшем случае жрать нечего — жить незачем. Это если не заинтересовались тобой добры-молодцы-самаритяне, свято исповедующие заповедь « не хотите по-плохому — по-хорошему будет хуже». Недолго и обмишуриться со страху. Такое не забывается, даже если уверен, что исчез едкий и стыдный морок... В урочный час все вспомнится, неведомо каким манером, а все одно, не упредив, шарахнет память над твоим ухом из дивизионного миномета... Для Севки же смутные времена были отрочеством и юностью, он и относился к ним совершенно по-иному, гораздо проще и легче. Да и вообще, в силу относительной своей молодости, еще не вполне различал полутона и оттенки, предпочитая контрастность как признак полной ясности. Оттого наверное он еще вполне воспринимал песни Виктора Цоя.

И чего это нашим героям повествования упорно приходят на память «лихие девяностые», хотя в обсуждаемых книгах время «действия и сравнения» то, что сейчас за окошком? Значит, истоки сегодняшнего в тех «ликих»... Ничего без причины не бывает!

Стас ни с того ни с сего, впрочем, очевидно статичность положения заела, рывком вышвырнул грузноватую свою плоть прочь из кресла, и, явно дурачась, сделал несколько мелких прыжков *a la* зайка в направлении окошка. Опершись ладонями о подоконник и обзревая беспощадно увлажняемую разгулявшейся стихией пастураль, он, не оборачиваясь, коротко и неожиданно громко точно каркнул Глебу:

— Книга как? — и попытался забросить взгляд за плечо, примерно в сторону расположения адресата своей реплики.

— А *книгокак* это что за зверь? — раздался за спиной Стаса привычный в подобных случаях ответ — прямое следствие старинного «дарвалдая, сотворенного незабвенным князем Вяземским.

— Либо несознательный издатель попадаетеся, либо вреднейший главред некоего литжурнала,— тут же с авторитетным видом отозвался Стас, прервав свои фенологические наблюдения и повернувшись к окошку спиной.— Знаешь, меня батя как-то прибауткой рассмешил, сейчас припомню, там что-то вроде: писатель денег попросил, лицо являло боль и муку, но гвоздь, скажем, редактор положил в его протянутую руку.

— Поиск средств на оплату корректуры и типографских услуг продолжается с завидной безуспешностью,— Глеб как-то даже вполне поощрительно улыбнулся дружескому ерничеству.— Собственно, абнакновенно усе. Помыкаюсь, но сию тему добыю в итоге. И кстати, наши герои Андреянычи-Васильевичи и данной теме один из своих «четвергов» посвятили. Помните, парни, как они пригласили с собой главного редактора журнала «Срединная Россия», этого, как его, Андрея Матвеевича, и тот за чарочкой в лицах расписал им собрание в редакции с участием читателей и писателей. О-очень показательная тусовка. И куча всякой всячины наружу поперла.

— Только я не врубился,— нежданно встрял в разговор явно утомленный долгим молчанием Севка.— В чем же конкретно это умозамещение состоит? Что, мои мозги от ваших теперь отличаются? Я что-то не заметил.

— Сева, остуди головушку. Речь идет о замене образа мысли от аналогового к

голой цифре. Но об этом, мой юный друг, чуть позже. Хотя... в упомянутой главе о слете в редакции фигурирует среди прочего отказ, в виду отсутствия тугриков, от привычной полиграфической формы журнала и переход на электронную с возможной печатью по требованию. И вот, читатель, ранее вынужденный затрачивать некоторые усилия на приобретение, на выписку, например, или поиск и покупку определенного номера вожаемой художественно-литературной периодики, ныне просто «кликает» мышкой и вуаля — журнал к его услугам. Изменится ли со временем образ мышления читателя по крайней мере в данном направлении? Несомненно и бесповоротно, хотя прогрессивная сущность электронной формы журнала здесь явно налицо. Куда как демократично, а главное — весьма доступно для молодых... если те сподобятся удостоить вниманием столь отстойный по их мнению сайт. А еще преимущество «электронки» в том, что именно она решает проблему тиражности, делая последний, по сути, неограниченным, не в пример полиграфической форме, далее нескольких сотен экземпляров, как правило, не взлетающей. Это в советские времена тиражи достигали немислимых сотен тысяч. Да и книги... Помнится, у отца вышла книжка детских стихов «Я на севере живу», так ее тираж был сто тысяч при цене четырнадцать копеек. И журналы не пылились в редакциях, сваленные кучей ненужного хлама, а распределялись по необъятным просторам одной шестой части земной суши. Сегодня аналог этому именно интернет. Печатная форма безнадежно проиграла электронной. Но далее...

— Стас, что это? Откуда? Оттуда? Понятно, партизан, в сенях заныкал бутылку своего разлюбезного рома. И конечно же бутылек «ноль-восемь», чтобы троем на посиделку хватило! Нет? Ах, цельный литр! Йо-хо-хо! А где попугай капитан Флинт? «Я потерял ногу в том же деле, где старый Пью потерял свои иллюминаторы». Ладно, без всяких там «сундуков мертвеца» обойдемся. Рюмки, знаешь, в стенном шкафчике. Сева, надо бы заварить чайку свежего. Однако же, други мои, стремящиеся к праздности во славу Вакха, воистину достойна уважения позиция главного редактора, наотрез отказавшегося от взимания платы с авторов за публикации их произведений на страницах журнала! Несмотря на самое, что ни на есть, уязвленное финансовое положение редакции. Вот уж воистину «мы все пройдем, но флот не опозорим, мы все пропьем, но флот не посрамим». И впору бы авторам встать парадной коробкой и под фанфары восхвалять славного за них радетеля... Только вот авторов нынче переизбыток. Отчего же, спросите? Да все от них, от графоманов. Несть им числа и нет на них никакой управы...

Бездарные писакки энергичны и сосредоточены на цели аки пчелы альбо муравьи, они упорны, а эта цель их — попасть на страницы чего-нибудь печатного; ей они служат честно и свято. Да погоди, Стасик, не гони осликов на водопой, успеется, у нас засуха нынче не в моде, вон как хлещет с небес и конца-края не видать. И вот тут у меня реминисценция интересная насчет того, что во времена развитого социализма, хочется там или не хочется кому-то, но Союз писателей был надежным защитным барьером от подобной шатии-братии. Я тут намерен с дяденькой одним схватился в подобном единоборстве. Он орал, мол, Пастернак Борис Леонидович вообще считал, что не должно быть никаких союзов, а раз так... Ну, что же, классик имел право на свою точку зрения. Но!.. И высказанный мною «тезис» неоспорим, поскольку так и было. Правда, вместе с воинствующими бездарями на этом барьере висли и подлинные таланты, не выполнявшие несложные «правила игры»... Но сегодня-то вообще на «графьев» управы не найти. Они населяют страницы бесчисленного количества «братских могил», сиречь многостраничных альманахов, издаваемых частным порядком от Калининграда до Владивостока и обратно, они выпускают книги за свои кровные, они лезут в те же «союзы»... Бр-р-р...

Глеб притормозил свою филиппику, чтобы перевести дыхание, и тут же был

премирован рюмкой *Капитана Моргана*. Налил Стас, ибо они с Севкой уже причастились под разглагольствования друга. А тот, опростав сходу рюмку, с размаху, со стуком, поставил ее на стол и поспешил продолжить.

— Да, наличие тысяч «обилеченных» писателей во времена советские тоже наводит на разные мысли. На сей счет есть поучительный анекдот, когда ответственный секретарь Тульского областной писательской организации на отчетно-перевыборном собрании приводит данные о численности: дескать, на учете в организации состоит сорок писателей, что в сорок раз больше чем в начале двадцатого века. Из зала кто-то, ничтоже сумняшеся, вопрошает — кто тогда был тем единственным писателем? Лев Толстой, конечно. Но вот свою оградительную, повторяюсь, функцию санитарного кордона на пути графоманов, писательский орден выполнял четко. И не зря упомянуто в той же беседе, что вступить в Союз писателей Красной империи было труднее, нежели стать доктором филологических наук, что практически соответствует истине. Кстати и автор столь горячо обсуждаемых нами книг членом Союза писателей стал в советские времена... Так что, подобно Фоме Аквинскому, он — «тройной доктор», ибо еще две степени имеет: по технике и по биологии.

— Это все красиво, занимательно,— Севка, запустив пятерню в шевелюру, сделал несколько причесывающих движений.— Но, брат мой старший и мудрый, что с самим умозамещением? Я ни бельмеса, по-прежнему, не секу и объяснений внятных от опытных товарищей не слышу.

— Слушай, молодой, хорош дурить,— принятый на грудь допинг явно прибавил Стасу энергии, то-то взвился толстячок. Взвиться-то взвился, но и вновь разнести по рюмкам крепчайший эликсир не позабыл.— Мало тебе «цыганского» факультета? Чем не умозамещение? Прежде, при всех парткомах-месткомках, марксизмах-ленинизмах, подобного цирка быть не могло. А потом пошло-поехало, теперь сплошь одни университеты и намешано в них столько... радиоколбасный вуз, словом, на каждом шагу. Для чего же сотворено? Для расширения спектра обучения? Ага! Щас! Бабло косят, о прочем не думают. Мало тебе? А индекс Хирша, как показатель значимости ученого имярека, сколько раз его коллеги помянули-процитировали, вместо конкретных научных результатов? А читательская аудитория, прежде грамотная и весьма требовательная к авторам, где она нынче? Нету! А что есть? Правильно, потребитель информации, желательно готовой, то есть приобретенной без каких бы то ни было мозговых затрат. Мало, еще сыпануть? Пожалуйста, с нашим удовольствием. Сам контингент литераторов не изменился что ли? Да и союзов, якобы писательских, нынче развелось, кроме двух основных, тьма тьмущая. С одной стороны да, барьеры сметены, желающим *welcome!* А на деле зачастую что? Ладно он там какой-никакой отставной прапорщик по геодезии, так ведь не в чине дело, а в подходе. Правильно пишет автор «Бесед», вложив реплики в уста действующих лиц, мол, вожделеют многие прежде всего наград и премий, пусть не глобальных, областных, а все-таки бонусы некие приносящих. Не Эрато, не Эвтерпе с Каллиопой служат многие, но мамоне, причем даже по мелочи, но ведь приятно, прах побери! Это ли не умозамещение? Вот тебе уже какую социогруппу очертили: от творческих до научных кадров да вкупе с аудиторией бывших читателей и студюзовсов...

Стас лихо выдохнул, чуть отвернув голову в сторону, и не менее ловко шарахнул рома, сразу потянувшись к стакану с крепким, приостывшим чаем. «Сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал»,— проворчал он под нос цитату любимого своего литературного персонажа, на коего в немалой степени внешне и походил. Точнее, так казалось ему самому. Друзья поддержали Стасов порыв, а чуть погодя, Севка, помотав волосатой своей башкой, закуривая, примиряющее продудел, дескать, *well*, убедил

ли, теперь понятно более или менее.

Очевидно желая дополнить тираду Стаса наглядным примером, Глеб ухватил чайник и демонстративно поднял его над столом.

— Вот смотри, Сев: разница между аналоговым и нынешним цифровым образом мышления, как между недавно помянутым самоваром и этой пластмасской. Оба устройства греют воду, причем эксплуатировать второе несоизмеримо быстрее и проще, нежели первое, а эффект в результате получается обратный, ибо «старый медный балагур» органичнее и, ежели угодно, душевнее. Стоит себе, медью древней кичится, можно сапогом его раскочегаривать, чем не сказка?! И кипяточек для заваривания чая с дымком из него брать приятнее. А этот, современный, правда старый уже, вон белые бока пятнами желтоватыми пошли, стареет пластик да еще термовоздействие сказывается, этот поэзии не содержит, он из серии «схватил-побежал». Ну, правильно, современный темп ежедневности и прочая лабуда. Только вот увлекаться этими самыми ритмами, а равно и веяниями, нужно поаккуратнее и с максимально возможным вниманием и анализом происходящего.

— Во, братан, правильно,— Стас, улучив мгновенье, вернулся в беседу.— А то получится в точности калька с очередной «беседы», как ее бишь — «Паранойя за клавиатурой», где чувак один, Денис Охлопкин по тексту если, ботан конечно, аспирант и прочая, примерный семьянин, на работе «полный компресс», но вот загвоздка — подсел парень на компьютерные игры. Да столь плотно, что сам не заметил как соскочил с катушек. Ему там один злобный покемон не давался. А тому покемону нужно было по условиям игры голову с плеч снести, чтобы выйти на следующий уровень и стать оруженосцем рыцаря Артура. Вот ведь пурга несусветная, а будущий кандидат наук повелся. И таки башку покемону срезал... Косой из сарая на батиной даче. Батя его после обеда покемарить прилег, ну и аккурат за покемона и сошел... бедолага. Выловили сыночка чуть позже, когда он с папаниной головушкой в руках по дачному поселку бегал и блял, что стал наконец-то оруженосцем. Нормально? Во — умозамещение! Куда уж круче.

— Слышь, парни, айда на веранду, вроде бы стихать стало на улице, и надымили тут: топор повесь, так не свалится,— Севке явно наскучило быть объектом внушения. Он встал, опять с хрустом и томным стоном потянулся, сколько, мол, скрюченным просидел, и двинулся на выход. Глеб со Стасом не возражали, очевидно тоже утомились пребыванием в четырех стенах, и потянулись следом. Веранду Глеб пристроил к избе недавно, маясь отсутствием физической нагрузки — не все же за столом корпеть, в компьютер уставившись. Писанина писаниной, а топориком тоже поиграть не грех, особенно если умеешь. Глеб научился кое-чему у деда, тот-то плотник был записной, из соседних районов приезжали к нему, просили пособить в строительстве, да и папаня был мастер не из последних. А заодно с верандой и крылечко новое пришлось ладить, прежнее совсем обветшало, то и дело грозило развалиться. На веранде было прохладно и сыро, в двух местах на полу поблескивали лужицы. Глеб поднял голову: так и есть, кровля протекает немного, надо будет подшаманить. Он толкнул дверь и шагнул на крыльцо.

Ливень иссяк и сменился моросью. Этим летом солнышка явно недоставало, зато воды с небес пролилось с лихвой, оттого и пошла буйно в рост всяческая зелень, годная наверное лишь на корм животине. Собственно, Глеб отнюдь не сокрушался на этот счет, все равно никаких грядок-посадок он не делал, наезжая в дедовский дом лишь когда город вконец опостылевал, и не было сил справляться с воинствующей урбанизацией. Да уж и нынче тут природа разошлась вовсю, вон как одуванчики по обочь крыльца раскинулись, прямо-таки колосятся. Да по периметру всего дома и далее до изгороди травушка-муравушка явно по косе скучает. Надо будет заняться,

уделить хозяйству внимание. А траву соседке отдать надо, пусть своих кроликов потчует. Или не кроликов? Кого она нынче пестует-разводит. Бог ее знает...

Стас толкнул его в спину, чуть отодвинул, выглянул на свет божий.

— Куда это ты уставился, дружище? Тут у тебя и глаз положить не на что, перспектива скрыта изгородью раkitника, кстати, давным-давно пора его проредить, а вблизи сплошной сорняк, в лучшем случае кормовой. Да ведь у тебя кормить-то некого.

Стас позвал Севку, курившего в глубине веранды.

— Эй, ты, гений эпохи вырождения. Вот тебе наглядная модель умозамещения, глянь, да подойди ты сюда, младень ленивый, вот, глянь, говорю, раньше здесь все грядки были, иная зелень там росла, укроп, лук, а там вон клубника, и горох сажали... А нынче нету ничего, только вон эти ядовито-желтые повсюду, ну и прочая сорная травка. Так и в мозгах, покуда они «возделаны» у тебя — одна песня. А стоит подзапустить малость, глядь, уже сорняк все завоевал — не выведешь. Понял, младень? Шиш ты понял наверное. Да тебе поди оно практически до лампочки. Тебя это умозамещение как раз и накрыло. Хоть ты и правильный чувак. Ваше поколение уже с траченными мозгами... Чем траченными? А все тем же, гаджеты-маджеты, думать не надо, надо знать, точнее угадать одну цифру из трех. И вообще, как мне один деятель заявил, из молодых да ранний, мол, главное — оказаться в нужное время в нужном месте и в нужной команде. Лови момент, короче говоря. Правда, наши собеседники в книжке-то утверждают, что у нас, у русских, даже в грядущем умозамещении пока что свой, особенный путь. Конечно, сопротивляться объективным общественным процессам можно, но в итоге проиграешь все одно. Уж не знаю, что нас спасает в итоге — то ли природная привычка существовать параллельно с объективной реальностью, в частности с властью той же, а может общая технологическая отсталость, даже не отсталость, а несогласованность освоения новаций вкупе с казнокрадством руководителей и мздоимством чиновным. Не знаю, посмотрим. Но то, что образ жизни, меняясь разительно, врещет нам по мозгам, сие аки божий день ясно. Бытие оно что? Правильно, Всеволод Батькович, определяет сознание. В народе, правда, хождение имела несколько иная интерпретация, мол, «битие определяет сознание». Как говорил один писатель у Стругацких: «Народ сер, но мудр». Глеб, о чем замечтался? Так и будешь торчать на крыльце? Подышали немного и хватит. В город ехать сейчас рискованно, неизвестно что там на лесной дорожке, раскисло все наверное, точно застрянем, ищи потом трактор в округе. Подождать надо. Пошли-ка в дом, обедать пора. А то от чая уже кишки скрутило...

Глеб же, оценивая Стасовы умозаключения, вдруг подумал, что образ с сорняками не вполне удачный. Тут корректнее было бы говорить о гидропонике. То есть все соотносится как традиционное земледелие и беспочвенное, когда питание растений происходит по шлангам-трубкам посредством водной среды. Кстати есть и хайпоника, где вообще воздух используется в качестве носителя питательных веществ. Этими способами можно вырастить лимон величиной с арбуз или сливу, напоминающую здоровенную тыкву. А ведь и верно, с виду то же самое, только больше, однако в данном случае, как говорится, размер имеет значение. И то же, да не совсем. Вот тебе и умозамещение на фоне глобализации. Глеб вздохнул, он не станет сейчас смущать друзей своими озарениями. Какая разница? Все аллегории условны. Пойти что ли и вправду щи разогреть да порубать как следует. Мозг не должен голодать ни в прямом, ни в переносном смысле, а то и впрямь заместится чем-нибудь нештатным.

«СТРАННАЯ СТРАННОСТЬ, ИЛИ КРИТИКА ЧИСТОГО ЧУВСТВА?»

(«ЖЕНЩИНА В ЧЕЛОВЕЙНИКЕ»*)

Дедовский дом, в остальном, кроме нижнего венца, крепкий еще пятистенник, располагался на отшибе от остальных деревенских построек, в полукилometре, а то и чуть более, практически на берегу речки, на самой излучине, так что виден был, с какой стороны не подходи-подплывай. Прадед так решил, и сколь его не уговаривали построиться поближе к «обществу», дескать, оно и в случае чего помогать сподручнее, случись, не дай бог, тот же пожар, упрямый мужичина только сопел в ответ, чуть подкидывая топор в ухватистой, умелой, здоровенной правой клешне, отрицательно мотая головой и приговаривая любимое свое «не бойсь». Со временем, уже при советской власти, между околицей деревни и домом отшельника была по прихоти районного начальства разбита роща, чтобы, значит, люди после трудов праведных гуляли и отдыхали под сенью лип, ясеней и кленов. Деревья прижились, пошли в рост, заматерели, уцелев, как ни странно, во время войны, и теперь на месте рощи шумит внушительный такой лесок, вполне себе ягодный и грибной. А к деревне, аккуратно сквозь него, ведет то ли широкая тропа, то ли узенькая, с автомобильную колею, дорожка, в дождливое время совершенно раскисающая, и одолевать оную приходится на второй или вообще на первой передаче.

Глеб-то как раз и считал самым ценным в этом доме его расположение. Вид с излучины потрясающий, противоположный берег низкий, понятно, пойменные луга, по весне их топит разлив речки, а дальше взлобок широкий и лес вековой, до коего еще не дотянулись загробущие лапы алчных самопильщиков, то и дело «пошаливающих» в глуши по старой памяти. Топкий берег помехой, а с другой стороны, со стороны леса то есть, вообще никаких дорог, шоссе в двух десятках километров пролегло, только пешком по тем лесам хаживать, да и то в буреломах умаешься. Глеб с парнями не раз в тех чащобах бывал, грибы там потрясающие, собирать их толком некому, знай себе прут на белый свет, достигая гигантских размеров, старея и трухлявея, сеют споры для новой поросли, ежели не достаются «тихим охотникам». А этим самым тихим охотникам откуда взяться? Горожане обленились вконец, есть и поближе грибные места и ягодные, а местные... Из города сюда лишь прожженные энтузиасты наврode Глеба добираются. А в деревне пара десятков домов осталось, да три семьи хозяйствуют, «фермерствуют» — на новом языке. А еще бабушка Ульяна живет, две козы у нее. Вот и все народонаселение.

Кастрюля с шами грелась на электроплитке; вот тоже чудеса, дом в сторонке, а электричество есть, как и в деревеньке. Линию электропередач, магистральную, совсем неподалеку проложили еще в конце пятидесятых, оттого и протянуть провода к домам оказалось для колхоза не накладно. А потом и дед добился, чтобы его жильё приблизили, так сказать, к цивилизации. Пошумели на правлении, не без этого, но в конце концов бросили нитку к дому; не оставлять же без света бригадира, передовика и орденoносца. Пока друзья охотно, с шутками-прибаутками, копошились, накрывая стол, тарелки там, хлеб, огурцы соленые еще имелись, к тому же сало, Глеб решил протопить печку-голландку, крепкую кстaти, еще дедом сложенную, и вышел за дровами. Сарай-дровенник стоял на заднем дворе, стоял еще крепко, только вот крышу надо было перекрывать, да руки опять же не доходят. Глеб отворил дверь настeжь, припер ее камушком, поблизости для этого и положенным, чтобы не закрылась, и вошел внутрь. В сарае было довольно светло; прорехи в заднем скате крыши, небольшого окошка в торцовой стене, свободной от поленницы, вполне достаточно для

* Алексей Яшин. Женщина в челoвейнике: Роман одного дня / Предисл. Л. В. Ханбекова: Академия российской литературы.— М.: «Московский Парнас», 2018.— 395 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). В электронной форме на сайте www.pz.tula.ru — Прим. ред.

того, чтобы совершить нехитрые манипуляции с дровами.

Впрочем, если что, есть и переноска с лампочкой, вешай куда хочешь, шнур длинный, розетка у дверного косяка прикрыта квадратным лоскутом из старой автомобильной камеры, над розеткой прибитым. Влагозащита значит. Глеб с досадой вздохнул и покачал головой, ведь и стационарное освещение было налажено, да вот в позапрошлом году ураганчик легкий по окрестностям прогулялся, он и оборвал провод. Один из местных фермеров, по совместительству — по первой профессии, электромонтажник, все обрывки убрал, а вновь проводку тянуть у него тогда времени не было. Точнее, сказал Глебу, мол, будешь готов, маякни. Вот Глеб до сих пор и готовится. Все руки не доходят, тоже мне хозяин.

Дрова лежали так, чтобы дождь свозь дыры в крыше их не тронул, не подмочил. Глеб набрал охапку в обхват и выбрался наружу, ловко ногой откинув камень и затворив дверь, сыро хлопнувшую ему в спину. Да, сараюхой тоже надо заниматься... всем надо заниматься... жить, что ли сюда переехать? Так ведь Кира — она не поедет, и я запираю здесь молодую, городскую женщину не в праве, она вон какая! А какая, собственно, растакая? Да брось ты, понятно же, Кира современная, продвинутая, красивая и умная дама. И при деле при своем. Переводчик она высокого класса. Привозить ее сюда? И что ей тут? Коров доить? Стоп, а где те коровы? Интернетом в нашей глухомани, может и к лучшему, не пахнет, приехать просто отдохнуть разве что... Отдохнуть? Она где отдыхает? Вот то-то же!

На мокрых ступеньках крыльца Глеб поскользнулся и едва устоял, балансируя охапкой дров. Вот было бы дело растянуться с этими деревьями на грязной землице? Впрочем, мать-сыра-земля она не выдаст, контакт с ней наверное больше пользителен, ибо отрываться от родной почвы не след, усмехнувшись, подумал он. Свалив дрова на стальную лист, покрывавший пол у печи, и стал драть с поленьев бересту, затем принес с веранды маленький топорик, наколол лучины. И вновь, пока почти автоматически, с детства заученным порядком снаряжал топку, вернулся мыслями к Кире. Кира. Современная женщина, ничего не попишешь. При деле, деньги зарабатывает приличные, хата есть, тачка тоже, на ногах стоит крепко. Мать-одиночка? Да, мать-одиночка, но это для нее не повод плакать в чью бы то ни было жилетку. Она и матушка ее сильные дамы. Мама Кире, кстати, тоже еще та львица. Держится молодцом, следит за здоровьем и ничуть не бедствует. «Женщины в человекнике»? Пожалуй. Тыфу ты, дьявол, угораздило же автора так третий роман свой озаглавить. Зиновьев, конечно, молодец... тот, который Александр, мыслитель и «трижды диссидент».*

— Эй, деятель! — из кухни выглянул Стас. — Господин истопник, у нас усе на мази, ром степливается, щи стынют, сало — сам понимаешь. А ты тут над дровами чахнешь. Думу что ли какую думаешь? Давай за стол! Стас выжидающе завис в дверном проеме, уперев одну руку в косяк, а второй надавив на дверную ручку. Глеб молча кивнул и достал из кармана зажигалку. Пламя занялось быстро, все-таки дрова не успели отсыреть, дождь их не тронул. Посмотрев с полминуты на завившуюся в трубочки бересту и жадно пожираемую хищными оранжевыми, с легкой синевой языками пламени лучину, он закрыл печную дверцу, заложив в паз запирающую скобу, поднялся, отряхнул джинсы на коленях и отправился начисто мыть руки. Умывальников в доме было два, в кухне и на веранде. Глеб любил второй, объемный самодельный бак из нержавеющей стали. В нижнее днище бака был вварен кран, чтобы вода расходовалась до конца. Хороший бак, батя на заводе в свое время сделал, литров на двадцать, не меньше. Умывайся не хочу! Глеб вымыл руки с хозяйственным мылом,

* Первый раз в СССР: выслан за инакомыслие; второй — в Западной Европе, в Германии: замалчивали за яростную критику капитализма — империализма; третий — в нынешней России, читай его «Русскую трагедию». — Прим. ред.

сполоснул лицо, поморщился не вполне чистому полотенцу, но утерся все-таки, определил рушник в корзину для шмоток и тряпок, предназначенных в стирку, отправился на кухню.

Стас и Севка уже расположились за столом, в трех тарелках парило вполне еще горячее варево, в кухне пахло шами, щедро и очень по-домашнему — не разваренной капустой, а именно шами. Глеб умел их варить, бабка научила, спасибо ей, Акулине Макаровне, знатная была мастерица, в том числе и по кулинарии. Бутылка рома, точнее полбутылки, если судить по содержимому, на столе также присутствовала по соседству с миской, полной соленых, слегка помятых, огурцов и горькой нарезанного небольшими кусочками сала на разделочной доске. Так, хлеб в плетенке есть. Можно приступать, тем паче, что дежурная порция рома уже в рюмках.

Когда, уже отобедав и подкинув дров в печку, Глеб вернулся на кухню, Севка, сам того не осознав, вернул его к недавним размышлениям. Брякнул ни с того, ни с сего, мол, а что же Кира сюда вообще не ездит отдыхать?

— Была пару раз за те полтора года, что мы знакомы. А так...— Глеб пожал плечами.— Что ей здесь? За грибами-ягодами она ходить не станет, не приучена; рыбачить, ха-ха, тоже, ей тут скука смертная. Она же с матушкой то в Эмираты, то на Баги, то на вечно гнилой Запад... в городок Париж, например. Продвинутые современные дамы... «Женщины в челоуейнике».

— Термин сей,— Стас поежился,— уж больно конкретный и ассоциативно однозначный, аж дрожь пробирает, как представишь. Зиновьев в точку угодил с определением современного общества. Кстати, название какое-то на первый взгляд несуразное, а? Но вот начинаешь читать роман и понимаешь, что в целом можно и так его называть. Это ведь такой роман неклассического вида, исследование, хоть и состоящее также из новелл, нанизанных на лейтмотив...

— Там, кстати, в начале самом класный экскурс в историю города, правда? — заметил Севка.— На первый взгляд вроде бы и ни к чему, ну, действительно, какое это имеет отношение к основной теме? А потом начинаешь пропирать: ведь это преамбула такая неявная, дескать, мир безвозвратно изменился. Вмещающий ландшафт, если по Гумилеву. Вот и вводит автор действующих лиц в до неузнаваемости изменившийся ландшафт. Значит что? И человек также меняться будет, если не уже... И женщина... Вот о «Беседах» говорили, дескать, дамы умозамещению менее подвержены, особая логика мышления, эмоции и прочая. Так третья книжка получается и призвана этот вопрос раскрыть, какие они нынче женщины наши. Я читал-читал и понял, что всякие они, хоть в челоуейнике, хоть где.

— «Просто люди должны быть похожи на людей»,— задумчиво проронил Глеб и сразу оживился.— Помнишь, Сева, детский фильм был, хотя ты вряд ли его смотрел, «Король-олень», там Олег Ефремов волшебника играл и песню пел с этой строчкой. Вроде бы банальщина, да? Ан, нет, ибо не оспоришь тезис. Хоть так верти, хоть этак. А женщина должна оставаться женщиной. Не зря же главной героиней романа именно Елизавета Васильевна выбрана. Именно этот типаж и становится краеугольным, базовым. А все остальные, получается, некие флуктуации от нормы? То есть чувства и побудительные к действию причины, в основном, инвариантны и за тысячелетия не изменились. А вот технические, если угодно, средства воплощения их в жизнь, они да, развиваются и видоизменяются. Но по идее женщина, лишенная присущих от века женщине качеств, таковой и быть перестает. Равно как и мужик. Лиши котика его повадок и манер, его свойства падать всегда на четыре лапы, в частности, и что от котика останется? Так и с дамами может произойти...

— Ты скажешь тоже, дружище,— захихикал деланно Стас и в своем кресле чуть ли не разлегся, аж ногами засучил от удовольствия.— Подумаешь, цаца какая эта твоя Елизавета Васильевна. Горный родник ея души и вообще. Кстати, твою Кирку

напоминает... Что? Только вот давай без обид. Я ничего плохого не сказал, не скажу и не подумаю даже. Просто аллюзия. А насчет «женщина должна оставаться женщиной», так сие весьма условный тезис. Огласи его сейчас записным феминисткам, они тебя тут же с навозом смешают, если не кастрируют. А модус вивенди и модус операнди* современной дамы каковы вообще? Спектр, конечно, не узенький, но... но, согласишься, дружище, на первый план выходит прагматическая составляющая. Так? Но ведь так! Вот в романе та же Вера Тимофеевна есть явное противопоставление Елизавете твоей... Ну, не твоей, ладно, не цепляйся. И согласишься, симпатий эта самая Вера не вызывает никаких. Живет с мужем, коего не уважает, ни в грош не ставя и как мужчину, тоже мне Клаудиа Кардинале, похаживает на сторону, однажды заражая мужа понятно какой хворью, тут и комментарии излишни. Все ясно, крутит «служебный» романчик с руководителем своим ради меркантильной цели, сиречь увеличения оклада содержания и прочих бонусов, и очень-очень завидует другим дамам навроде Светланы Аркадьевны, действительно провинциальной львицы, эффективной, упакованной, меняющей своих мачо по собственному хотенью. Отличные картинки. Портреты современных женщин. Гойя отдыхает. Это же «Капричос» своего рода. Дожили...

— Кстати говоря, главная героиня не просто так и сны видит, тоже мне Вера Павловна наших дней, и записи ведет, причем записи тезисные, о том, что женщине свойственно и в ее сущности, и в поведенческих стереотипах. Чувствуется научный подход, следующим шагом явится систематизация всех этих записей по определенным признакам. Ученый, он во всем ученый — Севке явно надоело играть в молчанку, выслушивая тирады друзей.— Автор, кстати, тоже от науки, доктор** и все такое, ощущается сразу. Оттого и роман получился очень нестандартный, странноватый, проще говоря. А мне вот эти отвлечения на записи дневниковые откровенно скучно было читать. Человеки и бытие человежье слишком стохастичные явления. Как там у Стругацких, не помню о чем конкретно сказано: «Стохастичнее, чем игра в орлянку». Во-во, правильно. И систематизации, к ним применимые, всегда условны, хотя и верны до определенной степени. Душа? Душа ни в какие таблицы не втискивается. Вот и говорят — душевнобольной, а подразумевают-то шизофрению, что в переводе означает расщепленный разум. Разум! А не душа. А душа не с разумом напрямую связана, но с интуицией. Это к слову больше. А «женщина в человеинике», то есть в современном сообществе, поставлена в очень и очень жесткие условия. Хотя и прежде не в раю жила. Но тут автор достаточно безжалостно дает некоторые «картинки с выставки», читать приходится настороженно. Нас по-иному воспитывали, нежели этих персонажей...

В комнате сгущались сумерки. Это снаружи, в поднебесье, опять собирались чернильного оттенка тучи, явно сулящие новый ливень, если вообще не очередную грозу. Стас выпростался из тесноватого для него кресла, подошел к выключателю, прикрученному у самого дверного косяка, щелкнул клавишей. Под потолком вспыхнула пятью лампами, упрятаннкими в стеклянные с легкой синевой плафоны, напоминающие цветы-колокольчики, старинная, годов пятидесятых еще люстра. Глеб критически глянул на заслуженный светильник, люстра явно требовала по крайней мере протирки. Да, не хватает хозяйки, ох, не хватает, а самому никак не сподобиться, то одно, то другое... Однако в городской своей квартире он раз в три недели четко генеральные авралы проводит. По всем правилам. В самом деле, не приглашать же Киру в хлев! А тут... холостяцкая берлога. Никогда не считал себя неряхой, и вот по-

* *Modus vivendi* и *modus operandi* — образ жизни и образ действия (лат.) — Прим. ред.

** Можно и согласиться с таковым мнением; разные они, сочинители, по «профессии»: лорды, канцлеры, клинические сумасшедшие, камер-юнкеры, воры серебряных ложек... Особенно много чиновников и гусарствующих...— Прим. ред.

жалуйста. Надо будет пылесос привезти. Нет, лучше новый купить, оставить в квартире, а сюда старый доставить. Глеб вдруг ощутил, что совсем отвлекся и толком не разбирает о чем там опять вещает Севка. Он тряхнул головой и прислушался.

— Вот ты, Стасик, спросил, мол, а как это нас воспитывали? С ехидцей такой спросил, да не отпирайся, это ехидство у тебя в крови, и пусть. Мне оно не мешает. Но согласись, нас и вас, старшаков, так воспитывали, что девчонка, невеста, а тем паче жена друга, она тебе как сестра, и отношение к ней соответствующее. Защитить, если что, ты ее обязан, даже можешь ей компанию составить в случае необходимости, в кино там, в кабаке... Но глаз на нее положить, в кровать затащить ни боже мой, не моги и все тут. Как бы она тебе не приглянулась. Разве не так? А в романе что? Вспомни новеллу про эту Анну и *передержанную* страсть. Словно оправдание тут же аргументируется. Но сразу после свадьбы не устоять перед напором дружка собственного мужа и завалиться с ним в постель! Они что, животные какие-то? Или сей случай столь характерен и повсеместен? Я понимаю, в армейке там, полгода без увольнения. Ну, еще в местах не столь уж отдаленных. И то сказать, человек же в состоянии с самим собой справиться, на то он и мыслящее существо.

— Случай, конечно же, не повсеместен, мой молодой друг, но встречается. И наверное не так редко, как хотелось бы,— Стас, до этого так и стоявший у дверного проема, вернулся к столу, ухватил бутылку с ромом, наполнил свою рюмку и вопрошительно глянул на друзей, мол, а вам как, наливать что ли? Глеб и Севка по очереди согласно кивнули. Манипулируя бутылкой, Стас продолжил.— Люди по-разному воспитаны, по-разному умеют, точнее не умеют, сдерживать свои не очень прекрасные порывы. И потом, разные мнения есть на этот счет. Ты же не знаешь всех обстоятельств заключения этого, из упомянутой истории, брака. Может быть девушка вышла замуж в виду материальных выгод. И, кстати, как говорят циничные, умудренные вроде как жизненным опытом люди, браки по расчету самые прочные и долговечные. И вообще, всем известно, что любовь зла. А еще есть не менее философическая сентенция, дескать, стерпится-слюбится. Принимая во внимание все вышеизложенное, вполне допускаю возможность для молодой супруги гульнуть налево. Хоть мне, как мужику, это и не вполне приятно сознавать.

— Что ж, время, точнее особенности и гримасы современности, не могут не сказываться на поведенческих стереотипах, будь то женщина или мужчина, без разницы,— Глеб включил чайник, слегка опустив вниз плоский рычажок под его рукояткой. М-да, самовар смотрелся бы органичнее, ничего не попишешь. В кухне и так все раритетное: от ходиков до плиты, когда-то топившейся дровами. Электроматка о двух конфорках не считается. Ее Глеб не так давно привез из города. А вот самовар... был самовар да сплыл. Не просто ведь так он то и дело чудится. Словно стоит себе на столе и все тут. Непонятно только, куда он исчез во время одного довольно широкого застолья, когда здесь народу понаприезжало, мама не горюй! Отмечали солидную премию хозяина дома, да-да, его, Глеба премию... Шалман тут устроился, ни дать, ни взять. Дым коромыслом стоял до утра самого. А потом, когда все разъехались, хватился он самовара, а его-то и нет, точно и не было никогда. Вот и мерещится медный раритет теперь всем, кто здесь появляется, блазнит, с толку сбивает. Ладно. Проехали. Надо бы мысль продолжить.— Ведь не секрет, что женский пол нынче не столь уж прост и абсолютно не наивен. Напротив, деловит и весьма деятелен. Иных представителей мужеска пола обставляют в жизненных реалиях, и на раз обставляют, прекрасные дамы. Это бесспорно и примеров тому несть числа.

— Так это еще в девяностые произошло, когда дамы наши в челночную торговлю подались, пока мужички бухали и страдали, так сказать, душой и сердцем,— перебил друга Стас, весело присвистнув.

— Да, конечно, подожди, Стас,— Глеб смял пустую пачку из-под сигарет, от-

крыл дверцу потемневшего от времени, когда-то лакированного, изначально цвета кофе с молоком, настенного шкафчика и достал новую порцию курева.

— Так же временем проверено, что имеющаяся в зашнурке «котлета» из купюр, иначе выражаясь, «пресс» денюжат, является для многих жен и подруг извиняющим очень многое в мужских поступках обстоятельством. Тоже не секрет, собственно. То есть, многие дамы занимают такую позицию, мол, мне не важно, что там благоверный делает и как средства «рубят», лишь бы добывал в приличном количестве, дабы мне было комфортно. Женщины ведь тоже, хоть и прекрасный пол, могут быть жесткими, жестокими даже и весьма приземленными. Как мне однажды на службе один слесарь жалился, хороший, кстати, слесарь, руки действительно золотые, так вот ему супружница лягнула, дескать, ты хоть иди воруй, мне все равно, лишь бы деньги домой приносил. Может в сердцах шваркнула, а может и нет, кто знает?!

— Во-во, так и было, — оживился вдруг Севка и повернулся к Стасу. — Ты свою-то первую вспомни, да, Янку, ты еще тогда гудел по-черному, а я только дембельнулся... Прихожу к тебе домой, ты в отрубе лежишь, а она довольная такая. Меня за стол усадила, дескать ей скучно, и стол накрыт... Я было начал по недомыслию ей выговаривать, какого лешего тебя так распустила, что пьянствуешь? А она с улыбочкой снисходительной мне в ответ: мол, да пусть хоть на голове ходит, главное — добытчик хороший, ни в чем отказа ей нет, любые прихоти исполняются. Да, выпивает, но побесится и успокоится. А, если потребуется, вызовем ему на дом анонимную наркологичку, пусть прокапают, как следует, бабосы имеются.

— М-да, было и такое, — без тени улыбки протянул Стас, — а вообще, в романе многовато этого самого «фрейдизма», ежели угодно. Конечно, тайные, подспудные, подсознательные желания, физиология, психология... Только ведь нормальный человек, если он человек, а не животное, управлять собой в состоянии и сам знает в чем себе стоит признаваться, а что без признания давить на корню и чему власти над собой не давать. А как иначе? Да и три типа современных женских характеров весьма условны. Флуктуаций-то может быть сколько угодно. И так называемая «счастливая дура» на поверку оказаться может просто женщиной, живущей в согласии с собой и с окружающим миром, просто счастливой и вовсе не дурой. А вот Светлана свет Анатольевна вполне способна сама себя и объегорить в результате своего бытия, с виду вполне роскошного. А что за душой-то в сущности? Понты сплошные? Ну да, в удовольствиях эта местная дива себе не отказывает, есть связи и в столицах, опять же вполне с головой дружит дама. Но все губит какой-то потребительский цинизм. А сие ведь очень скучно в сущности.

— Дружище, так ведь автору контраст нужен, он намеренно от многих мелочей абстрагируется, дабы вычленил главное, сущность самую что ни на есть. И то определенная мозаичность остается, посмотри сколько сопутствующих основным персонажей еще приходится описывать, хоть и штрихами-пунктирами? Правильно, не в вакууме живут главные действующие лица, а в многоквартирном доме, это как минимум. Но автор тут хитро поступает, вводя мимолетные образы, изначально весьма разнообразные по упомянутым модусам, а следовательно и по характерам, он ведь так поворачивает ситуации, что поступки их зачастую схожи, — Глеб наконец тоже решил не маячить более каланчой и плюхнулся в свое кресло. — И получается, что описанное разнообразие, воленс-ноленс, укладывается в обозначенные типажи женских характеров.

— Да? Возможно, возможно... — по лицу Стаса было понятно, что он не вполне согласен с рассуждениями товарища. — Просто, вот помнишь, как чувак там познакомился с дамой во время застолья у друзей, и она тут же с ним в кровать прыгнула. И любовь у них безумная получилась. А потом, уже домой возвращаясь, он на соседскую девчущку, хоть и совершеннолетнюю, но гораздо его моложе, польстился, и

хлестали они бормотуху из горла на верхотуре многоэтажки, у лифта, и опять-таки жутко друг дружку любили... Что-то это ни на один типаж не похоже, да и не станет нынче никакая практическая женщина так вот себя вести. Это лет сорок — пятьдесят назад еще возможно было бы, тогда мужики ценились выше. Память о годах послевоенных, времени жуткой нехватки мужчин, еще жива была, да и женский пол вел себя попроще, меньше им надобно было. Как в анекдоте: на трамвае прокатаешь, мороженное купишь, и она твоя... А нынче нет, дамочки хитренькие стали, чувства свои в узде держать умеют, ох, умеют! Это же как надо, пардон конечно, оголодать, чтобы сходу на мужика бросаться?! Уж и не знаю. Возможно, наверное, теоретически, но не характерно как-то.

— Ой, да мало ли что бывает! — отозвался Севка, вроде бы и не вслушивавшийся особенно в диалог друзей, а погруженный в изучение висевшего на стене календаря пятилетней давности с эффектной девушкой в купальнике на постере. — Вот вы Елизавету упорно тут перевозносите. А она ведь тоже с бравым кавторангом без церемоний в постели оказалась. И объяснение этому в целом правильное: «люди взрослые», чего уж там, не до манерностей, все и так понятно. И где ее мораль? Где нравственность, в коей нас пытаются убедить? Чем сия Лиза, далеко не бедная во многих аспектах, ежели не во всех, остальных превосходит? И потом, смотрите, ведь она сумела «остудить» свой же эротический, а отнюдь не любовный, пыл и мозгами пораскинуть на досуге, что кинуться вслед за командиром подлодки в заполярные широты — дурь и более ничего. По той простой причине, что не готова она к бытию офицерской жены в дальнем гарнизоне со всеми, как говорится, вытекающими. Понимает наша практически идеальная дама, что сбежит она оттуда через полгода максимум. Тоска сожрет ее с потрохами, да к тому же и дочка-подросток, вырастающая в девушку в замкнутом пространстве военного поселения, пусть даже именуемого ЗАТО*, это тоже сомнительная перспектива, ведь от смены названия сущность взаимоотношений в подобных поселениях не меняется. И не след Елизавете поэтому рушить устоявшийся свой уклад, пусть иногда скучноватый и даже, возможно, тоскливый, на невесть какой, непонятный, но уже внушающий опасения. Что это, как не та же самая меркантильность и расчет?! Получила от мужика что хотела и адые.

— Однако же не все настолько уж приземленно, *mon cher ami*, — отчего-то разве-селился Глеб, с явным удовольствием внимавший Севкиным умозаключениям. — Собственно говоря, она просто ощутила, что этот эмоциональный, ну, хорошо, пусть даже чувственный всплеск, отнюдь не любовь. Пусть даже по старине Фрейд с этой его терминологией-фразеологией неудобь произносимой, ну и что с того? Лиза не человек что ли? Да, со всеми слабостями женскими, но ведь и силенок у нашей героини вполне достаточно. И не помянуть шило на мыло, оценить произошедшее, вовремя, если угодно, «протрезветь» и придти в себя, тоже ведь не каждая способна. Значит наша Елизавета свет Васильевна не встретила пока свою истинную любовь. Бога не видит за уже пережитым. Ну и ладно. Значит все действительно впереди. А записки дневниковые пусть себе будут. Это обратная сторона душевных метаний. Не с кем же на сию тему ей откровенно, без ерничества и цинизма той же Светланы, поговорить. Такой вот у женщины микрокосм, ежели угодно. Но автор прав, когда рисует Елизавету именно такой, с метаниями душевными, с размышлениями более холодными, что ли, но сохранившей ту чистоту, ту внутреннюю нерастраченную нежность, ту честность, насколько она вообще возможна в нашей, да и в любой, бытовухе-повседневщине. И я уверен, что вы, парни, и вообще наверняка подавляющее большинство мужиков о подобных женских качествах как раз и мечтают. Сколь бы

* Аббревиатура от «Закрытое административное территориальное образование» — ныне официальное наименование поселений и городов, что раньше назывались «военными городками». — Прим. ред.

цинично они вслух не выражались о дамах и свойственных им качествах.

— Из всего изреченного вами, мой господин, следует,— подхватил Стас с нарочитой театральной выпендренностью и кривоватой ухмылочкой,— следует, что женщина и в современном, подверженном тотальной глобализации, мире должна оставаться и так и остается, и впредь останется тем же прекрасным, нежным, обаятельным и загадочным созданием, что и прежде. По крайней мере для нас, для мужиков, ежели брать по истинному счету вне всякой потребкооперации. И вы, дорогой поборник этих прелестных женских качеств, считаете, что так оно и есть? И примером тому дражайшая Елизавета Васильевна. Только одна загвоздочка: она ведь получается некой идеализированной персоной на фоне остальных. Куда более реальных. Вон мамка «ейная» звезданула сковородкой папке, на сторону гулявшему, по башке и вернула его в лоно семьи. Чем не практическая сметка, хоть и от отчаяния проявленная. Или вас, дорогой эстет, от подобных вывертов коробит?

— Так ведь автор и не стремится представить главную героиню в образе «босоногой кармелитки» нашего времени. Она как раз нормальная женщина, пользуется вниманием у мужиков, вспомни чем книга заканчивается? Появляется очередной, весьма кстати, ежели на вскидку судить, достойный кандидат в... А вот в кавалеры, в партнеры или? Тут вопрос открытым и остается, чем и подчеркивается довольно-таки приличная сложность проблемы, именуемой «оставаться самим (самой в данном случае) собой».

Глеб взглянул вопросительно на собеседников, мол, согласны? Стас хмыкнул то ли да, то ли нет и плечами едва заметно пожал. А Севка? Тот кивнул утвердительно, он что-то утомился от всех этих теоретизирований. И как раз в этот момент с улицы донеслось некоторое тарыхтение. Вначале тихо, но с каждым мгновением становясь все отчетливее. Судя по всему, кто-то из деревни ехал сюда явно на тракторе, поименованном в честь союзного нашему государству, ибо там он на свет и появился. Друзья дружно встали и поспешили выйти на крыльцо, где обнаружилось, что недавняя угроза возобновления стихии так и осталась лишь угрозой, дежурная морось имела место, но ветер стих, а некоторое легкое движение воздуха именовать даже ветерком можно было лишь при желании.

Из кабины остановившегося метрах в двадцати от дома трактора «Беларусь» прыгнул прямо в мокрую, по колено, траву коренастый, широкоплечий мужичок, даже издали напоминавший грибок-боровик, помахал рукой стоявшим на крыльце и не спеша двинулся к ним, свернув уже на лишнюю траву тропку. Голенища его кирзовых сапог, короткие, с ременными застежками по бокам, блестели от воды. Это был давний приятель Глеба, один из местных хозяйственников, в отличие от двух прочих, деревенский уроженец Саня Ефимов. Он, не в пример многим своим ровесникам-односельчанам, после срочной службы на Северном флоте в город не подался, вернулся домой, женился на соседской девушке, по которой сох с детства, и пошел работать в совхозе трактористом. А когда грянули новые времена, ничтоже сумняшеся, выкупил этот вот трактор и занялся вместе с женой своим хозяйством. Трудились они на земле как проклятые, порой совсем из сил выбивались, однако никогда Глеб не слышал от Сани что тот, бросит это гиблое дело и свалит из проклятого Митрохина. Ничего подобного. Наоборот, Саня как-то обмолвился, что коли он крестьянин, так здесь ему и место. И не сдался, а сейчас и делишки вроде совсем наладились, ишь гоголем идет, смотрит задорно.

— Господам городским литераторам и кому там еще наше с кисточкой,— Саня чуть приподнял кепочку за козырек и слегка поклонился.

— Привет хозяевам земли, привет трудовым латифундистам,— ответил за всех Стас и протянул поднявшемуся на две ступеньки крыльца Сане руку. Глеб и Севка, не сговариваясь, хмыкнули, покивали в ответ и тоже пожалы натруженную, мозоли-

стую, перевитую трудовыми венами Санину ладонь.

— Что, дружки, переживаете непогоду? — Саня достал кисет и стал ловко сооружать самокрутку. Он сам выращивал табак и употреблял только его, не признавая покупных табачных изделий. Лизнув краешек бумажки, он прищурился на Глеба:

— В город-то не спешишь? А то ведь могу на буксире до шоссе дотащить. Я, правда, только завтра в Коркино собирался, но могу в порядке шефской помощи поспособствовать.

— Саня, так это город обычно над деревней шефство брал, предприятия бригады на уборку всякой всячины присылали ...— Стас легонько похлопал гостя по крепкому плечу.

— А ты почитай, вспомни «Возвращение» у Эриха-Марии,— прикуривая от зажигалки «Ронсон», Глебова ему подарка на прошлогодний день рождения, ответил Саня с интонацией явного превосходства над собеседником,— это горожане в кризисные времена мешочничать на деревню отправлялись, а не наоборот. А ежели военный коммунизм вспомнить, так заодно не забудь, что впервые голодали в Питере в гражданскую, когда крестьян-мешочников запретили пускать в город под страхом расстрела. И к двадцать первому году население «города трех революций» уменьшилось ровно втрое по сравнению с эпохой «тюрьмы народов», то есть до семисот тысяч. Так что куда уж вы — шефы без нас, сермяжных-то?

— Ты отчаянно прав, кормилец,— Глеб знал Санину манеру изъясняться и способность, что называется, поговорить, усевшись на любимого конька. Саня, имевший за плечами сельское пэтэу и досаафовские курсы, тем не менее стихийно образовывался сам, читая, как однажды выразился ехидный Стас, непозволительно много для зажиточного сельского жителя. Глеб, кстати, немало способствовал увлечению старого товарища, то и дело подсовывая ему книги из своей, в основном оставшейся от отца, библиотеки. Наязжая в город, Саня обычно останавливался на квартире у Глеба, привозил прочитанное и забирал новую партию книг. Когда он успевал их читать при своей всегдашней загруженности по хозяйству, для Глеба оставалось загадкой.

— Я, кстати, чего заглянул-то к тебе,— Саня по привычке, приобретенной еще в детстве, ухватил себя за кончик короткого толстого носа большим и указательным пальцем левой руки и слегка покачал из стороны в сторону,— почитать с собой ничего не прихватил часом? А то я нынче до города не доберусь, делишки тут держат, а чтиво закончилось. Я тебе прежде взятое позже закину, если не уедешь. А то, смотри, могу и сейчас сгонять.

— Нового? — Глеб посмотрел в сторону своего авто.— Новое, друже, имеется. Только это, видишь ли, завершающая часть одной весьма занимательной тетралогии... Впрочем, такую книгу можно читать и без остальных. Отчего бы в обратном порядке это четырехкнижие не изучить?! Пошли, чаю глотнешь, у нас и ром к нему имеется. А потом я тебе и книжку выдам, она у меня в машине лежит.

Саня не возражал против чаепития, очевидно порядком соскучившись по мужской беседе, и пополнившаяся новым гостем компания вернулась обратно на кухню. Глеб манерно уступил Сане дорогу и дурашливо подражая недавним ужимкам фермера, тоже с легким поклоном, указал рукой: дескать, пожалуйста, сударь, а уж мы после вас. Саня усмехнулся, сбросил с круглой, ежиком остриженной головы кепку и шагнул в кухню. И встал вдруг, сделав несколько шагов, точно вкопанный, так что Севка, уткнувшись в стоявшего в дверном проеме Стаса, вообще остался вне кухонного пространства и заглядывал туда через плечо друга. Саня обвел взглядом кухню, и удивленно-озадаченно спросил:

— Слышь, друже, а вроде бы у тебя в прошлый раз самоварчик тут стоял. Древний такой, он же от прадеда остался вроде, помятый немного, но по всему видать фирмы старинной, я же его издавна помню. И календаря на стене нет. Помнишь, ви-

сел отрывной за шестьдесят первый вроде бы год... Недооторванный наполовину. Я еще хотел было листочек отчекрыжить, да ты тогда на меня даже наорал немного, чтобы не распускал клешни. Тоже куда-то делся. А?

— Не помню, не знаю. Ладно, проходи вот сюда, за стол садись,— сбивчиво и даже смущенно ответил Глеб и стал суетливо, без всякой цели, переставлять посуду, стоявшую на столе, пока все рассаживались по своим местам.

— На чердаке все наверное, надо бы проверить, инвентаризацию провести...— он ухватил бутылку с ромом и наполнил три рюмки, а потом и четвертую, которую принес все из того же из буфета.

— Так самоварище и я помню,— Стас поприветствовав всех поднятой рюмкой и одним махом ее опустошил.— Только он совсем недавно мне тут мерещился. Вроде стоит на столе, а моргни — и нет его. А календарика что-то не припомню. Вот фотки прадедовские на стенке висели, где дед твой, Глеб, еще пацаненком снят. У прабабки на коленях сидючи.

— Ладно-ладно, я и сам толком не вспомню куда и что подевалось. А может и не было ничего? Помстилось просто. Дом старинный, энергетика в нем издревле копилась. Мало ли что,— Глеб с полуулыбкой покрутил пальцем у виска и ткнул кнопку на чайнике, откликнувшемся тут же деловитым шипением: недавно совсем кипятили.

— Ага. Прямо как в шотландском замке,— гоготнул Севка, закуривая.— Ни дать, ни взять Кентрвилльское приведение в родовом шотландском поместье.

— Ну, в шотландском не в шотландском, а чем мы хуже? — отозвался Саня.— У нас тут, брат, тоже все непросто. Глухомань, конечно, а ведь прежде и речка судоходная была, и ярмарки устраивались, и вообще жизнь была куда как разнообразнее. В округе сколько деревень мертвых, не считал? А я вот скажу, что с десяток наберется. Это так, приблизительно. И везде люди жили, судьбы у всех разные. Энергетика да, ого-го-го. И ежели там домовая почудится или еще какая «недотыкомка серая», я насколько не удивлюсь. Кому суеверия, а кому фольклор. Да, Глеб, а что ты там о книжке толковал? Вернее, насколько я понял, об одной из четырех, о завершающей тетралогию?

— Сейчас,— Глеб встал и, опершись руками о столешницу, поглядел в окошко.— Вроде и вовсе утихомирилось ненастье. Схожу к авто и принесу книгу, чтобы был предмет для разговора. Чай пока разлейте, други.— И вышел из кухни.

СЛОВО, КАК ПАНАЦЕЯ ОТ ЦИФРЫ («ЖИТИЕ НАШЕ ОЦИФРОВАННОЕ»*)

— Видишь ли, Саня,— обратился Глеб к листавшему врученный ему томик гостю,— эту вещь можно читать как самостоятельную, не предваряя преамбулами, напротив, она и сама во многом может служить вступлением в тетралогию, ибо так или иначе тема ее проходит через все остальные повествования. Что же касается персонажей, а если угодно героев, то тут надо для начала просто знать, что живут на страницах всей тетралогии и, кстати говоря, за пределами оной, в иных произведениях автора, некто Николай Андреянович, ныне доцент, а прежде труженик оборонки, и его старинный приятель профессор Игорь Васильевич. Это мужчины уже с приличным жизненным опытом и академическими знаниями, скептически, но объективно настроенные к окружающей действительности, то есть не злобно, с приличной и

* Алексей Яшин. Житие наше оцифрованное: Новеллино (девятая книга рассказов Николая Андреяновича): Академия российской литературы.— М.: РОО «Литературное сообщество «Новые Витражи», 2019.— 329 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). В электронной форме на сайте www.pz.tula.ru — Прим. ред.

вполне приемлемой и обоснованной иронией. Здоровое человеческое и вполне себе рациональное начало берет в них верх над всеми резонами современного бытия и его новых веяний, помогает сохранить себя в виде самодостаточных личностей, слабо подверженных влиянию модных тенденций, в частности, всемирной паутины, всеобщей компьютеризации и прочая.

— Причем их позиции ничуть не отдают ни косностью, ни рутинерством,— точно про себя, глядя куда-то в пустой кухонный угол, примечательный разве что отслоившимися слегка обоями с выцветшим орнаментом, проронил Стас,— мужчины сии лишь ратуют за сохранение в человеке творческого самостоятельного начала.

— Есть там и другие достойные персонажи, например, Андрей Матвеевич, профессиональный писатель, главный редактор литературного журнала, устами которого весьма увлекательно и красочно «глаголет истина» о нынешней жизни литературного мира, хоть и не столичного, но все-таки не вполне и провинциального, ибо все происходит в областном центре, всего в двух часах езды от первопрестольной расположенном,— Глеб перевел дыхание, вооружился сигаретой, но прикуривать медлил, рыская глазами по столу, очевидно в поисках своей рюмки.

Севка угадал желание старшего товарища, ту же выстроив «тару» рядком и взяв в руки бутылку рома. Он только вопросительно глянул на Саню, но тот помотал головой отрицательно и руками немного крутанул воображаемый руль.* Тогда виночерпий мигмом исполнил задуманное, а трезвеннику на тракторе налил чаю в чистую, старинную, настоящую фарфоровую с нарисованной внутри розой, чашку, извлеченную из буфета. Троица дружно отправила содержимое рюмок по назначению, а Глеб тут же продолжил свой монолог.

— Так вот, *mon cher* Саня, стараниями или, если угодно, усилиями двух наидостойнейших граждан, а именно Игоря Васильевича и Андрея Матвеевича, да плюс к ним одного головастого аспиранта по кафедре информатики, было выпущено в свет повествование об истории создания и весьма драматического порой существования областной организации писательского союза — от страны советов до наших дней. Но, следуя традициям иносказания, по понятным причинам от Эзопа до Михаила Евграфовича и далее неизменным, повествование это выполнено было в форме сказки по примеру только что упомянутого и весьма нами почитаемого дважды в миру вице-губернатора. Вот, друг мой хозяйственный, прочти сию повесть, четвертую книгу, собственно, открывающую и попробуй узнать, кто именно из литераторов сокрыт за сказочными лесными обитателями.— Глеб наконец-то закурил и вытянулся в кресле.

— А сделать такое, то есть сбросить с реальных поэтов-писателей личины звериные, можно с помощью нашего друга яндекса, сиречь интернета, вообще говоря, компьютера. А ведь всю эту виртуальную реальность наши «ирои», как говаривал Салтыков-Щедрин, довольно усердно кроют на все корки, чуть ли не анафеме предавая. А я вот быстро сумел разобраться «ху есть ху», особенно зацепившись за Лошака, который реально в год столетия основоположника и вождя свалил на брег Туманного Альбиона. Вот аз грешный и раскрутил весь клубок понемногу в обе стороны: и по хронологии, и супротив ея. Практически всех определил. Интересно и очень познавательно. Только вот без всемирной паутины, трижды проклятой, ничего бы у меня не вышло. Это факт.

— М-да. Диалектика. Единство и борьба противоположностей. Старина Георг Вильгельм Фридрих Гегель. И никакого тебе марксизма-ленинизма. Одна сплошная абсолютная идея — медленно, точно задумавшись, словно выдавливая из себя слова,

* С полным восторгом можно воскликнуть: это надо же за всего одну-две пятилетки так дисциплинировать народ (хваленым немцам на это понадобилась тысяча лет!), чтобы в деревенской глухомани тракторист отказывался принять «на грудь» стопку-другую?! — Прим. ред.

проговорил Саня.

— Бог с ними, с теориями и философиями,— Севка растопыренной пятерней забросил назад упавшие на лоб пряди густой своей шевелюры,— мне вот не вполне понятно, а пошто так шифровать-вуалировать в сказочный антураж обыкновенную историю обыкновенной губернской писательской организации? Есть, так сказать, боевой путь, что тут зазорного? Сами же орем на каждом углу, мол, не надо стесняться своей истории, не надо ничего переписывать, принимайте все как есть, точнее как было. Да и вообще там ведь ничего выдающегося, как мне кажется, в боевом-то пути и нет?

— Ну-у, Сева, орем-то не мы с тобой и другими «трудовыми массами», а господа журналисты по одному им ведомому заказу... Во-первых, отсутствие, как ты выразился, выдающегося, не исключает наличия жизненных и творческих коллизий. Потом, кто определил критерии — что выдающееся, что нет? Во-вторых...— Стас глянул на Севку снисходительно — Во-вторых, по прошедшим событиям, плюсуя к ним происходящие, можно в некоем, хоть и эскизном приближении дать прогноз на будущее, «мой дорогой лейтенант». Автору, Андрею Матвеевичу, самым естественным образом сия тематика близка, он в нее, если угодно, погружен и значит разбирается. Как же литератору не исследовать и не описывать историю литературного и окололитературного, сие тоже имеет значение, процессов? Форма сказки, по примеру классика, избрана, в тексте так и указано, оттого, что на момент издания этой «гиштории» еще здравствовать изволил немало тех, кто в повествовании присутствует. Плюс к тому, форма щедринской сказки дает небывалый простор всегдашней авторской иронии, а без нее куда? Правильно, никуда. Я бы даже назвал эту манеру изложения *ироническим оптимизмом сожаления*, что опять-таки «единство и борьба». Кстати, уважаемый латифундист, а ты самого Гегеля читал или с чьей-то подачи излагаешь?

— Начинал читать, запутался в терминологии,— буркнул отрывисто Саня.

— Я и Иммануила, «Критику...» его, начинал. И Кондильяка брал в библиотеке... ну, там, Фейербах, еще всякие, Огюст Конт, неоплатоники, младогегельянцы. Во, только названия школ и выучил. Трудно усваивать. Привычки нет. Не художественная же литература.

— Да не журись, сельское хозяйство,— хохотнул в ответ Стас,— ты думаешь я не такой же? Правильно, вникать в подобное привычка нужна. Ну, да я к слову больше... А вот...

Он видимо хотел еще о чем-то осведомиться у деревенского аборигена, но тут встрял в разговор покончивший с выкуренной до фильтра сигареты Глеб:

— Ты, Стасик, очень хорошую и емкую форму нашел — иронический оптимизм сожаления. Именно! И ведь такая манера, главным действующим лицам, то есть и автору, присущая, дает возможность сохранять надежду на лучшее. А значит и делом своим конкретным, пусть не слишком значительным, но для кого-то имеющим некий вес, этому самому «лучшему» способствовать. Конечно же, не все так гладко, аки желалось бы, но... глупо противиться объективной реальности; и сколь бы разлюбезный профессор Игорь Васильевич не старался бы в своем идейном «луддизме», сиречь машиноразрушении, сколь бы не хаял и не проклинал реальность виртуальную вкупе с глобализацией и всякой иной всячиной, процесс, как говорили три десятка лет назад, пошел. И он идет и будет идти. Сохранить себя и все, человеку присущее, в себе, не утратить ассоциативного мышления и привить его тем, кто будет после нас, вот задача! Даже сверхзадача, ибо архитрудно выполняема и распадается на отдельные пункты. Но на то мы и человеки, вооруженные интегральным исчислением. Делим сверхзадачу на отдельные, маломасштабные, а потом суммируем, сиречь берем интеграл по пространству нашей родимой земли. И опираться в своих стараниях-

радениях надо на слово. «В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог». Евангелие от Иоанна, а равно и от его «собратьев по перу» никто не отменял. Хватит с нас научного атеизма. Будем опираться на язык, слово, речь, — непременно сохраним человека и человечность. Не будем — превратимся в андроидов. Это, конечно, схема, формула, однако... Не забудем, что язык — проводник не только в будущее, но и в прошлое. А верность исторической канве — это не хухры-мухры, отцы мои.

Но вот канву сию не столь уж просто нащупать, слишком переломано все в ушедшем веке, переиначено, с ног на голову опрокинуто. Отсюда и «широта» интересов и взглядов наших профессоров-доцентов, я имею в виду книжных. Слишком уж залихватски порой они рассуждают о былом. То Троцкого цитируют, то государя-императора хаот.* А зря... Не берусь судить об образовании упомянутого ангела революции, но его откровения нам до лампочки. Единственно, что можно сказать по данному вопросу, так это процитировать Василия Аксенова, мол, чтобы бороться с врагом, надо его знать, а чтобы его знать, надо чтобы он был. А судить об имперских реалиях узкоколейно, если хотите, — «слабый царь с царицей-немкой на троне отстающей в развитии империи», так это вообще шельмование исторической правды... Это ведь зажавшиеся либералы и ополоумевшие генералы вкупе с крупнейшими буржуа сделали все, чтобы за менее чем год развалить империю и вручить власть вождю всех пролетариев и уже помянутому иудушке-интеллектуалу. Да, «зато мы делали ракеты» в итоге и «грозили надменному соседу», но... цена победы, други, тоже ведь должна приниматься во внимание. Дабы впредь столько крови не лить и собственный народ под нож не гнать чуть что. Мы же последствия этих экспериментов до сей поры ощущаем. А спастись от цифры нужно гуманитарным образом. Вопрос только, а как сие конкретно выглядеть должно?

— Так автор вот и опасается, что ни шиша не получится. Он ведь не зря назвал книженцию «Житие наше оцифрованное». — Севка устал бороться с непокорными своими власами и вытащил из заднего кармана джинсов с зиявшими на коленях и бедрах поперечными — по нынешней моде — разрезами широкую, сшитую кольцом, черно-белую резинку и ею, надев на голову, привел-таки прическу в стабильное состояние. — Правильно, без компа и сети нынче никто, считай, и шагу не ступит. И все мы, пользователи, уже в чьих-то базах осели, и знают нас там от шляпы до... скажем, носков. Ассоциативное мышление... Ха-ха, а к чему оно, ежели поисковик имеется? Правильно, ни к чему. Скажи монтажнику, мол, лебедка у нас пятитонка, а поднимать придется груз тонн в девятнадцать, так собирай нынче четырехветвевый полистпаст, а он в ответ планшетик или айфончик открыл в инете посмотреть: что такое этот страшный зверь означает, как выглядит, и как его «изделать»? У строителей то же самое. Seriously. Мне бригадир знакомый рассказывал.

— Слышал, господин «младогегельянец»? — обратился Стас к Сане, — а что ваша милость по сему поводу нам изречет глубокомысленного? А насчет младогегельянца не в обиду было сказано, я ведь тоже максимум названия школ и течений философских помню еще. Не более.

— А что вам, братцы, сказать? — Саня крепкой, порядком натруженной, переви-той рельефными венами рукой в задумчивости потер основательный свой подбородок. — Проблема утраты прежнего образа мысли, человеку присущей с незапамятных времен, и замены одного новым способом, как вы говорили, оцифрованным, есть ко-

* Да не хаот — опять же объективность. Ведь никуда из истории не денешь Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, «стольпинские галстуки», позор войны с Японией, войну за англо-французские интересы с «тевтонами», с которыми у России не имелось никаких контраверз... А малодушное отречение от престола? — Нет бы приказать личному конвою на месте расстрелять генералов Алексеева и Рузского да шлепнуть пару родственничков великих князей... — Прим. ред.

нечно. Как не быть?! Вон насколько все переменялось! Да последние лет тридцать возьмите! Небо и земля! С виду не всем заметно, а на деле... Я, Стас, на пальцах тебе. Вот в тракторишке моем трудовом-заслуженном есть такая деталь — шкив привода вентилятора, а на вал он крепится шпоночным соединением. Впрочем, она, штуковина такая, в любом движке присутствует. Все элементарно. А у соседа, тоже сельского старателя, у него ЗИЛ'ок был, ну, «Бычок», так на этом ЗИЛ'ке как-то шкив такого же назначения с вала сорвало. Провернуло и привет. Он ко мне, помоги, мол, ну и стали мы в моем ЗИП'е копать, нашли запасной шкив для «Беларуськи», промерили оба, сравнили, а они с зиловским и по наружному диаметру, и по профилю ремня идентичны, как говорится. А вот по способу крепления на валу... извините, на автомобиле славного завода соединение шлицевое. И привет, пишите письма. Близок локоть, да не укусишь. Вроде и то же самое, да не то. Так и с нашим вопросом. Внешне мы, теперешние, вроде как и прежние, а внутри едва ли. Такие вот ассоциации.

— А то, что Николая Андреевичу, с молодых ногтей и батькиного благословения нумизмату, константиновский рублевик, хотя и китайский новодел, вождельный не одним поколением вдохновенных собирателей монет, предлагает по дешевке якобы алкаш, ищущий средств на опохмелку свою и брательника, это тоже характерно для «жития нашего оцифрованного»? — с неожиданными для него горячностью и сарказмом вдруг громко произнес Севка. И практически без паузы добавил утвердительно:

— Несем мы, господа хорошие, действительно банальщину какую-то. Временам свойственно меняться, а людям с вершины житейского опыта вздыхать, мол, вот в наше время было ого-го, а «таперича» не то, ох, совсем не то. Что нам, в самом деле ломом в системный блок тыкать, дабы не «оцифроваться» совсем?

— Милый ты мой,— Глеб даже не взглянул на вопрошавшего, он в простенок между двумя окнами глядел, аккуратно напротив того сидючи, точно увидел там нечто, его поразившее.— Что до банальностей, так ведь и сама жизнь банальна со всеми радостями и горестями. И «все когда-то уже происходило». Мы же здесь не отыскиваем уже давным-давно открытое, а беседуем о содержании конкретных книг, объединенных общей темой, вполне и даже очень актуальной для всех присутствующих. Нам не сенсации нужны и не озарения, а лишь спокойный анализ, то есть соотнесение содержания литературного произведения и реалий нынешних, каковые каждый видит и оценивает, но по-своему.

— Алкаш, тобой упомянутый, Андреевичу раритет нумизматический притаранивший и сплавивший по демпинговой цене, он, конечно, может в любых эпохах проявиться, тут не в алкаше дело. Помнишь у Блока про «жизнь без начала и конца»... про «нас всех подстерегает случай»? — подхватил тему Стас.— А у Ремарка в «Триумфальной арке» не забыл о «систематике случая», исповедываемой в качестве одной из жизненных форм доктором Равиком? Знакомые цитатки, младень? Ну, так и пользуйся ими, аки инструментами познания, пользуйся. Встреча алкаша и коллекционера — ярчайшая характеристика времени, ибо внятно демонстрирует именно то, что для достижения цели и обретения успеха важно, прежде всего, оказаться в нужное время и в нужном месте. Достаточно знать частную суть некоей задачи, ежели угодно. А все эти басни о профессионализме и тому подобной лабуде вторичны, хотя и не исключаются. Я так считаю. Вот тебе еще одна грань пресловутой «оцифровки». Это же прямая отсылка к тестовой сути всего происходящего. Неважно знать, важно угадать, что конечно и знаний не исключает, хотя бы у «оцифрованного» они скудоумно всего лишь оперативную память занимают. То есть они не всеобъемлющи. И значит...

— Слушайте, други,— Саня вновь скручивал самокрутку, удивительно сноровисто управляясь с табаком и бумагой, даром, что ручищи изяществом не отличаются.— Вы бы «фитильки прикрутили», а то мне кажется, что я уже треть книги, как

минимум, прочел. А если о реалиях толковать, так вот я недавно на почту заехал в райцентре, так там... Что ты, Глеб, зареготал-то? Что смешного. Я ведь еще ничего не сказал!*

— Книгу прочтешь, узнаешь, Саня. Не удивляйся и не обижайся.— Глеб встал и подошел к висевшей в простенке старой фотографии в деревянной, явно ручной работы, рамочке.— Саня, а ты часом не про это ли фото спрашивал? Так вот оно... Я, правда, не знаю откуда оно и каким макаром вдруг возникло? Вроде бы ведь пропало с концами?

— А чайку тебе не насыпать? — спросил в ответ Стас и поставил чашку под носик здоровенного, медного, чуть местами помятого самовара, не оставившего пластиковому чайнику, кстати очень вовремя исчезнувшему невесть куда, никаких шансов в плане конкуренции. И пока остальные ошарашено таращились на чудесным образом изменившийся интерьер старой кухни, Стас повернул краник, и в чашку брызнул крутой кипяток. И в бормотании брызчатом этом на несколько мгновений всего почудились вдруг сидящим до боли знакомые голоса. Жаль не вспомнилось чьи именно, слишком уж быстро наполнилась чашка...

НЕКОТОРОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ, ЛОГИЧНОЕ УЖЕ В СИЛУ ПРИСУТСТВИЯ ПРЕАМБУЛЫ, НО, ВОЗМОЖНО, НЕ СТОЛЬ УЖ НЕОБХОДИМОЕ

Оставим в покое друзей-приятелей, пусть себе посидят еще сколько нужно, пусть «выпивают и закусывают квантум сатис», они — люди вполне себе состоявшиеся и самодостаточные, им сие не повредит, пусть порассуждают о тетралогии в целом, об отдельных книгах в частности, вспомнят конкретные эпизоды и действующих в них лиц, выскажут мнения, что-то и срезюмируют. Особенно отметят добротный литературный язык автора. Опять-таки и метаморфозы старого дома — они ведь не всякий раз случаются и не всякому индивидууму вообще доступны. Тем ценнее момент! А мы с вами обмолвимся еще кое о чем, отнюдь не имея целью идеализировать прошлое и демонизировать настоящее с будущим.

И если бы современная литература и впрямь не стала *салонным видом творчества*, далеким от широкого читательского круга, как совершенно справедливо утверждает автор тетралогии... Впрочем, даже в такой плачевной ситуации аз грешный настоятельно рекомендую к прочтению самому широкому кругу читателей эти четыре книги Алексея Яшина. Особенно обрадует меня, если на них обратит внимание «поколение младое, незнакомое», как обычно принято говаривать в случае упоминания тех, кто только приобщается к осознанному мышлению. Да, я всерьез считаю, что молодым людям будет не безынтересно узнать о времени не столь уж, по историческим меркам, далеком и, тем не менее, разительным образом отличающимся от реалий современности. Но реалии, при всей их наглядности, не всегда отражают глубинные особенности времени, а в глубине много такого, что можно посчитать инвариантным в любой период.

А что же главное в таких вот инвариантах? С легкой руки Бориса Гребенщикова можно резюмировать сие одной песенной строкой: «Но чтобы стоять, я должен держаться корней»... С этим и не поспоришь. И ведь Алексей Яшин на страницах тетралогии по сути о подобном модусе и ведет речь. И то верно, ни к чему было разрушать (еще вопрос: кто разрушал?) и заколачивать в небытие достигнутое во время оно,

* Засмеявшиеся персонажи повести при слове «почта» тотчас вспомнили новеллу «Ветер западный, оцифрованный» из обсуждаемой книги, в которой на примере службы почтовых услуг показана вся скоростная уродливость «оцифровывания»...— Прим. ред.

незачем было в тупом и холопском желании поклоняться западным якобы демократиям, на корню вырубать и херить то полезное и позитивное, что создавалось во времена «Союза нерушимого...». Вот только, если уж быть до конца справедливым, необходимо знать и помнить, что корни наши глубже, что они отнюдь не только в советском прошлом, что никакой советской сверхдержавы не состоялось бы без «умов и трудов» Российской империи, в силу своего величия оказавшей исподволь безусловное влияние на становление и развитие социально ориентированного государства. Впрочем, герои тетралогии об этом помнят хорошо...

Авторская логика, пожалуй, бесспорна прежде всего тем, что содержание всех четырех книг глубоко реалистично, и мы имеем дело с литературной интерпретацией конкретики, естественным образом вписанной в историю страны, претерпевшей (в очередной раз) на рубеже девяностых годов прошлого века столь значительные метаморфозы, что это не могло не сказаться на жизни каждого отдельного человека. И очень даже хорошо, просто-напросто отрадно, что автор «копает» настолько глубоко, насколько знает и помнит, не сочиняя ничего лишнего, но порой домысливая, поскольку без этого процесса в творчестве не обойтись никак. И всегдашняя авторская ирония — от предков-староверов и североморского воспитания, как говорит он сам — очень помогает читателю рассматривать содержание книг и мнения главных героев не как абсолют, а как мнение неглупых и весьма умудренных опытом людей, коим отнюдь не все равно, что там за окошком происходит и что с нами со всеми было и будет. А основание иронии вовсе не ерничество вкупе с нигилизмом, и цель ее не бездумных смех, переходящий в гомерический хохот. Помните, у Ремарка вывод на тему, мол, если смотреть на наш двадцатый век без смеха, можно сойти с ума, вот только смеяться долго тоже нельзя, можно застрелиться. Ирония — это, если угодно, тот янтарь, который помогает сберечь надежду на лучшее, а какая же, помилуйте, может быть жизнь без надежды?

Вот так, господа, они же товарищи, мои. Можно в чем-то не соглашаться с автором, тем более таким оригинальным, даже нужно. Коли есть охота и нужда, можно даже и поспорить... Но для этого необходимо, как минимум, прочесть тетралогию, вникнуть в рассуждения главных и не очень главных персонажей, осмыслить авторскую позицию и понять, что разобраться нужно прежде всего в себе, в своем отношении к истории своей страны, в понимании того, что разрушение старого очень негативно сказывается на созидании нового, а относительная стабильность в империи наступает лишь при условии единения общества и государства, народа и армии, и прочая, и прочая, означающее, что внутривидовую агрессию — все по тому же Конраду Лоренцу — необходимо каким-то образом «держать в узде». Так что читайте тетралогия Алексея Яшина, не пожалеете. Да и с другими книгами* уважаемого автора познакомиться стоит. Хотите убедиться? — Исполать вам, приступайте. С грустью говорю — «институт чтения» сейчас пустует: слово заменилось цифрой...



* Из трех десятков книг Алексея Яшина, изданных преимущественно в Москве, в издательстве «Московский Парнас», в электронной форме на сайте www.pz.tula.ru, кроме указанной выше по тексту тетралогии, размещены следующие: «Будни главного редактора» (2012), «Катехизис идеалиста» (2010), «Прологомены к новому русскому критическому реализму» (2015), «Квадратная пустота» (2012), «Административный восторг, или картинка с выставки» (2014), «Видение на Патмосе» (2012), «Сны и явь полковника Хмурова» (2011), «Любовь новоорского периода» (2009), «Историк и его история» (2004), «Дэкаф» (2013), «Тяжело дышит синий норд» (2003), «Страна холода: Детство в Гипербореях» (2009). Указаны в порядке размещения на сайте. — Прим. ред.